

13 авторов

13 историй

# 13 монстров



## САМАЯ СТРАШНАЯ КНИГА



18+



Самая страшная книга

Александр Матюхин  
**13 монстров (сборник)**

«АСТ»

2018

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Матюхин А. А.**

13 монстров (сборник) / А. А. Матюхин — «АСТ»,  
2018 — (Самая страшная книга)

ISBN 978-5-17-106734-2

Монстров не существует! Это известно каждому, но это – ложь. Они есть. Чтобы это понять, кому-то достаточно просто заглянуть под кровать. Кому-то – посмотреть в зеркало. Монстров не существует? Но ведь монстра можно встретить когда угодно и где угодно. Монстр – это серая фигура в потоках ливня. Это твари, завывающие в тусклых пещерах. Это нечто, обитающее в тоннелях метро, сибирской тайге и в соседней подворотне. Монстры – чудовища из иного, потустороннего мира. Те, что прячутся под обложкой этой книги. Те, после знакомства с которыми вам останется лишь шептать, сбиваясь на плачь и стоны, в попытке убедить себя в том, что: Монстров не существует... Монстров не существует... Монстров не существует...

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-106734-2

© Матюхин А. А., 2018  
© АСТ, 2018

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Вместо предисловия                | 6  |
| Олег Кожин                        | 8  |
| Шимун Врочек                      | 17 |
| Юлия Лихачева                     | 31 |
| Максим Кабир                      | 41 |
| Борис Левандовский                | 50 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 59 |

# 13 монстров

© Авторы, текст, 2018

© М. С. Парфенов, составление, 2018

© Александр Соломин, обложка, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

\* \* \*

## Вместо предисловия

*Прежде чем перейти к чтению историй о существах, в которых вы не верите, позвольте напомнить вам про 13 реальных монстров, обитающих на планете Земля:*

1. *Cretonotos gangis* – моль, обитающая в Юго-Восточной Азии и в Австралии. Помимо обычных крылышек и ножек, у этого вида моли есть еще и «щупальца», от одного вида которых становится не по себе.

2. *Chlamydoselachus anguineus* – плащеносная акула. Глубоководная акула с острыми мелкими зубами-иголками и телом змеи. Акула-змея – что может быть ужасней?..

3. *Melanocetus johnsonii* – «черный удильщик». Жуткая хищная глубоководная рыба, в симбиозе с которой живут особые, фосфоресцирующие в темноте бактерии. Свечение заманивает жертв удильщику прямо в пасть. Эта тварь способна проглотить добычу, которая даже превосходит ее в размерах, – благодаря особому устройству желудка.

4. *Ophiocordyceps unilateralis* – кордицепс однобокий. Гриб, паразитирующий на теле насекомых. Носитель паразита – муравей-древоточец – становится его послушным рабом, покидает колонию и медленно погибает, пока гриб прорастает через все его тело и голову.

5. *Carcharodon carcharius* – большая белая акула. Крупнейший экземпляр из пойманных достигал 6,5 метра в длину при весе более 3 тонн. Монстр, встречи с которым, благодаря фильму «Челюсти», боится весь мир.

6. *Urechis unicinctus* – морской червь, известный также как «рыба-пенис». Эту тварь привлекает запах мочи. Известны случаи, когда червь забирался буквально внутрь мужского полового органа – оказавшись в теле человека, «рыба-пенис» выпускает шипы и прирастает к тканям, причиняя ужасную боль.

7. *Enteroctopus dofleini* – тихоокеанский осьминог Дофлейна. Достигает 3 метров, весит до 50 кг, источает ядовитую слюну и может убить неосторожного ныряльщика.

8. *Dermatobia hominis* – человеческий овод. Вид оводов, обитающий в Центральной Америке, – единственный опасный для человека овод. После незаметного укуса откладывает под кожу личинки, может проникнуть в глаза или даже в голову.

9. *Chironex fleckeri* – кубомедуза, или морская оса. Обитает в экваториальных и тропических водах. Небольшая, полупрозрачная, ядовитая. По статистике, у берегов Австралии от «укусов» кубомедуз погибает в 2,5 раза больше людей, чем от акул.

10. *Idiacanthus* – идиаканты, или, как их еще называют, «рыбы-драконы». Обитают на глубине порядка 2 км. Самцы идиакантов вообще не питаются, зато самки – опасные хищницы, способные захватывать добычу крупных размеров за счет подвижного черепа и челюстей, подобных челюстям ксеноморфа из фильма «Чужой». Острые, непропорционально длинные зубы-клыки идиакантов еще и светятся в темноте!

11. *Phoneutria* – так называемые «странствующие» пауки, а конкретно – «банановый паук», внесенный в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый ядовитый паук планеты.

12. *Architeuthis dux* – гигантский кальмар, достигающий 17 метров в длину и 280 кг веса. Обитает на глубинах свыше 1000 метров и является, несомненно, прообразом мифических Кракенов, так пугавших древних мореплавателей.

13. *Lepidoptera Primata* – малоизвестный вид плотоядных бабочек, встречающийся в Африке в низовьях реки Нил. Эти удивительные создания охотятся стаями или точнее – роями, причем способны причинить вред даже крупным животным и людям. Роящиеся бабочки принимают очертания фигуры зверя или человека, благодаря чему незаметно приближаются к жертве, после чего облепляют ее тело плотным слоем и высасывают кровь.

По счастью, бабочки-людоеды – последние монстры в этом списке – лишь плод больного воображения одного шибко веселого составителя хоррор-книг (но ведь вы ПОЧТИ поверили в их существование, не так ли?!).

Страницы этой книги населяют чудовища, придуманные писателями. И мы – люди, которые работали над антологией «13 монстров», – тешим себя надеждой, что пресловутая магия слова поможет вам на какое-то время поверить и в этих выдуманных существ.

## Олег Кожин Снегурочка

На первый взгляд Маррь ничем не отличалась от других заброшенных карельских деревушек. Полтора десятка кособоких приземистых домиков, прилипших к обеим сторонам дороги, больше напоминающей временно пересохшее русло бурной реки. Такие места, с легкой руки остряка Лешки Ильина, группа называла «ненаселенными пунктами». Два дня назад они оставили за спиной сразу три таких «пункта». Еще один миновали не далее как вчера. Не было никаких оснований ожидать, что в пятой, наиболее удаленной от цивилизации деревне еще остались люди. Бог – он троицу любит. Про пятерки никто не говорил.

И все же Сергей Иванович Потапов привел группу в Маррь. Потому что упоминание в монографии Гревингка – это вам не фунт изюму! Сложенная вчетверо ксерокопия брошюры лежала в нагрудном кармане потаповской «энцефалитки», возле самого сердца, и стучала там, как пресловутый «пепел Клааса».

– Да поймите вы! Это же тысяча восемьсот пятидесятый год! – вешал он на каждом привале, размахивая перед Аленкой и Лехой мятыми перепачканными листами. – Афанасьев эту легенду только через девятнадцать лет запишет! А у Гревингка – вот! Даром что геолог!

Потапов шлепал распечаткой по колену и с видом победителя поправлял очки. Мало-численная группа не спорила. Меланхолично пожимала плечами, хмыкала неоднозначно и продолжала заниматься своими делами. Алена Виртонен, большая аккуратистка и умничка, перепаковывала рюкзак, стремясь достигнуть какой-то запредельной эргономичности, а Лешка Ильин неловко пытался ей помогать. Студенты не разделяли восторгов своего руководителя. Подумаешь, самое раннее упоминание легенды о Снегурочке! Если бы кто-то из них заранее знал, что до зачета – неделя пешего пути... В первую же ночевку Сергей Иванович невольно подслушал, как Лешка, жалуюсь Алене на стертую ногу, бросил в сердцах:

– Манал я такие «автоматы»! Ну, Потапыч, зараза лысая!

А сейчас лысину Потапова нещадно пекло июньское солнце, от которого не спасала даже бандана. В Маррь они вошли чуть за полдень, когда светило включилось на полную мощность. На единственной улице не было ни души. Стук и зычные крики, исторгаемые Лехиной глоткой по поводу и без, увязали в плотной пелене тишины, стелющейся от дремучего леса, крúгом обступившего деревню. Однако опыт подсказывал Потапову, что Маррь все же живая. Во-первых, в воздухе отчетливо пахло дымом. Не едким костровым, а более мягким, печным. Во-вторых, стекла в большинстве изб хоть и заросли грязью, но стояли. Мертвые дома, как и люди, в первую очередь лишаются своих глаз. Только не птицы их выклевают, а ветер. Ну и, в-третьих... где-то недалеко жалобно блеяла коза.

– Ау! Есть кто живой?!

Леха забарабанил кулаком в высокие посеревшие от времени ворота с ржавым кольцом вместо ручки. Заборы здесь ставили из наглухо подогнанных друг к другу досок, почти в два человеческих роста. Не то что редкозубые оградки, догнивающие свой век в пройденных «ненаселенных пунктах». Пытаясь заглянуть во двор сквозь щель в воротах, Потапов мягко оттеснил Лешку в сторону.

– Эй, хозяйева, есть кто дома?! – Сергей Иванович вложил в голос максимум почтения. – Мы этнографическая экспедиция...

Никто не ответил. Потапов прислушался. Показалось, или за забором действительно закрипела приоткрывшаяся дверь? Стянув бандану, он обмахнул прелую лысину и стер капельки пота над верхней губой.



– Сергей Иванович, – Аленка деликатно дернула его за рукав, – местный житель на горизонте.

С противоположного конца деревни, вывернув из-за сарая с провалившейся крышей, плелась одинокая фигура – рыхлая женщина с нечесаными патлами, скрывающими широкое лицо. Покрытые синяками и ссадинами полные руки безвольно повисли вдоль тела. Окутанные облачками пыли босые ноги шлепали по засохшей земле. В такт мелким семенящим шагам подпрыгивали обвислые груди, прикрытые одной лишь грязной ночной рубашкой. Другой одежды на женщине не было.

– Ого! С утра выпил – день свободен! – гоготнул Лешка. – Интересно, чем это мадам так упоролась? Тормозухой, что ли?

Сергей Иванович сделал пару шагов навстречу и, точно мантру, повторил:

– Мы этнографическая экспедиция! Доброго дня вам!

Никакой реакции. Взгляд женщины, направленный сквозь троицу этнографов, уходил куда-то вдаль, теряясь в густом лесу. Грязные ноги, живущие отдельной от тела жизнью, выворачивались под самыми необычными углами, отчего казалось, что движется женщина благодаря одной лишь инерции. Сбросив рюкзак на землю, Лешка пошел ей навстречу.

– Леш, да не трогай ты ее! На фиг, на фиг... – в голосе Алены послышалась брезгливость. – Больная какая-то...

– Да погоди, ей, по ходу, плохо совсем, – отмахнулся Ильин. – Эй! Эй, тетя!

Ни тогда, ни потом, Потапов так и не почувствовал опасности. Вплоть до момента, когда исправить что-то стало уже невозможно. Опасность? Это ясным-то днем?!

Вблизи толстуха в ночнушке оказалась весьма рослой. Головы на полторы выше Лешкиных ста восьмидесяти. Поравнявшись с парнем, она подняла руки, словно предлагая обняться. Неугомонный Ильин, вполголоса выдав какую-то пошлую шутку, попытался отстраниться. Суетливо, нервно. Видно, сумел разглядеть что-то за шторкой грязно-белых волос. Нечто такое, во что и сам не сразу поверил. А потом уже попросту не осталось времени. Совсем. Пухлые ладони одним невероятно быстрым и выверенным движением свернули Лешке шею.

Треск сломанных костей показался Потапову таким громким, что заложило уши. Эхо страшного звука металось над притихшей деревней, рикошетило от мрачных елей, как пинбольный шарик. Где-то совсем рядом заорал какой-то мужик. Потапов не сразу осознал, что этот перепуганный рев вылетает из его глотки, а сам он уже мчится к упавшему в пыль Лешке. В спину хлестнул тонкий визг Алены, наконец сообразившей, что произошло. На полном ходу Потапов налетел на толстуху, угодив костлявым плечом аккурат между обвислых грудей, и, не удержавшись на ногах, повалился сверху на рыхлое, студенистое тело. От удара Сергей Иванович прикусил язык, очки слетели с носа и утонули в высохшей колее. Женщина под ним извернулась, неожиданно мягко и плавно вильнув бедрами, словно подталкивая к соитию. Несмотря на весь ужас ситуации, Потапов отстраненно почувствовал, как обгоревшие на солнце щеки заливает краска смущения. Отталкиваясь руками, он попытался подняться...

...и глупо застыл, в миссионерской позе нависнув над сбитой женщиной. Их лица разделяло меньше полуметра. На таком расстоянии Потапов прекрасно видел даже без очков. Но поверить увиденному не мог. Под ним лежал не человек. Грубое лицо существа покрывали короткие, напоминающие щетину прозрачные волоски, под которыми легко просматривалась ноздреватая пористая кожа. Грязно-белые патлы смело на затылок, обнажив вывернутые ноздри, острые звериные уши и бессмысленный мутный глаз цвета затянутого ряской болота. Один. Прямо посреди лба. Жуткую морду на две неравные части разделяла тонкая щель беззубого рта. Она медленно распаивалась, обрастая неровными треугольными зубами, широкими и крепкими. А Потапов, как загипнотизированный, смотрел и не верил глазам.

Больно вдавив кадык, горло Потапова перехватили толстые пальцы. Лишившись воздуха, он наконец затрепыхался, тщетно пытаясь отодрать обманчиво слабые руки. Под рыхлыми

телесами скрывались стальные мышцы. Перед глазами учителя заплясали фиолетовые круги. Непрекращающиеся крики теперь долетали до него, будто через толстое ватное одеяло. В ушах звенело. Лишенное кислорода тело зашлось мелкой дрожью. Пытаясь вырваться, он бестолково молотил кулаками бледную тварь и что-то хрипел. В какой-то момент Потапову послышалось, как в дрожащий Аленкин визг вплетается встревоженный старческий голос – предсмертный кульбит паникующего мозга. А через секунду грубые тиски на горле разжались, дав дорогу потоку восхитительного свежего воздуха. Голова взорвалась разноцветной вспышкой, горло разодрал жгучий кашель, и Потапов завалился на бок, больно приложившись головой о твердую землю. Он понимал, что сейчас, в непосредственной близости от смертельной опасности, не самое подходящее время, чтобы терять сознание. Но когда невидимые руки подхватили его с двух сторон и потащили прочь, Сергей Иванович все же благодарно нырнул в черную бездну беспомыслия.

Сквозь щели забранных ставнями окон на грязный пол падал свет. День вошел в полную силу; полутемную избушку со всех сторон пронзали солнечные спицы. Пролетающие сквозь них пылинки вспыхивали волшебными искрами. Во дворе заливисто чирикали дерущиеся воробьи. Где-то на краю деревни хрипело радио «Маяк»...

За высоким забором молчаливо топталась бледная погань.

Покачав кудлатой седой головой, дед Хилой отодвинулся от окна. Видимо, не доверяя ставням, для верности задернул его занавеской. В доме страшно воняло падалью, однако ни у кого даже мысли не возникло попросить распахнуть окна. Эпицентр смрада, похоже, находился где-то в кухне, но заходить туда не хотелось совершенно.

– Мужика хочет, – косясь на Потапова, сказал хозяин. – У ней щас самая пора етись.

Их спаситель оказался крепким высоким стариком, удивительно подвижным для своих лет и габаритов. Повадки и действия его напоминали матерого первопроходца, чей форт ожидают кровожадные индейцы.

– Что ж она Лешку тогда... – закончить Потапов не сумел. Всклипнул по-бабьи и откинул голову назад, крепко приложившись затылком о бревенчатую стену. Боль отрезвляла, не давала забыть, что происходящее с ними реально.

– А того, что поперву – еда! А опосля уж все остальное, – дед Хилой назидательно покачал узловатым перстом. – И что вам дома не сидится, туристы, в бога душу...

– Сказки собирать приехали, – ядовито ответила Аленка.

Она поразительно быстро пришла в себя. Едва ускользнувший от смерти Потапов, забившись в угол, трясся осиновым листом, а девчонка, всего час назад визжавшая так, что лопались стекла, воинственно расхаживала по комнате, примеряя к руке то изогнутую кочергу, то увесистое полено, сдернутое со сложенного возле печки дровяника. Не удовлетворившись, вынимала из кармана складной нож и принималась проверять, легко ли выходит лезвие. Она жаждала действия. Дед Хилой со своего табурета наблюдал за Аленкиными манипуляциями, посмеиваясь в бороду.

– Ты, девонька, шилом своим ее разозлишь только. От стали в таких делах од...

– Что она такое?! – перебила Алена. – Леший? Йети? Кикимора какая-нибудь?

Этот вопрос она задавала каждые пять минут. Дед Хилой отмалчивался. Вот и сейчас, недовольно зыркнув на непочтительную соплюху, он просто закончил начатую фразу.

– ...одна польза – горло себе перерезать, чтобы живьем не взяла.

Виртонен резко обернулась к Потапову.

– Бежать надо, – выпалила она. – Вернемся с помощью и раскатаем эту мразь...

Сергей Иванович испуганно икнул. Сама мысль о том, чтобы выйти наружу, снова ощущать сверлящий взгляд одинокого глаза... почувствовать себя *мясом*... Спина его неосознанно

вжалась в ошкуренные бревна. Глядя на суetyющуюся девчонку, дед Хилой недоверчиво выгнул брови, в который раз уже покачал нечесаной башкой и скрылся в кухне.

– Рванем со всех ног! Она же плетется, как дохлая кобыла! – присев возле учителя, Виртонен схватила его за плечи. – Она нас хрен догонит! Давай, Потапыч, миленький! Рюкзаки бросим и рванем...

В запале Алена даже не заметила, что назвала преподавателя по прозвищу. Глаза ее лихорадочно горели, изломанные в походе ногти царапали кожу Потапова даже сквозь куртку. Напрягшиеся мышцы поджарого девичьего тела излучали неистраченную энергию. Для себя Виртонен уже все давно решила. Сергей Иванович опустил голову, пряча взгляд среди рассохшихся досок давно неметеного пола.

– Тряпка! – брезгливо выплюнула Аленка.

Больше она не произнесла ни слова. Деловито распотрошила рюкзак, откладывая в сторону самое необходимое. Распихала по карманам пакетики с орехами и изюмом, полулитровую бутылку кипяченой воды, складной нож и спички. Длинный «полицейский» фонарик оставила в руке, накинув петлю на запястье. Решительно отбросила засов и шагнула на улицу, так ни разу и не взглянув на сжавшегося в углу Сергея Ивановича.

На шум открывшейся двери из кухни выглянул дед Хилой. Безучастно оглядел комнату: Потапова, разоренный рюкзак, распахнутую дверь. Потом кивнул и сказал:

– Не пошел? Правильно сделал.

– У меня мениск поврежден, – поспешил оправдаться Сергей Иванович. – А у Алены разряд по легкой атлетике! Я темпа не выдержу, а так...

– Сдохнет, – равнодушно перебил дед Хилой. – Хоть так, хоть этак.

Шурша заскорузлыми шерстяными носками по полу, он прошаркал к двери, но не закрыл ее, а остался стоять в проеме, «козырьком» приложив руку ко лбу.

– Позапрошлой зимой Лиша шестерых мужиков положила. С ружьями и собаками. Троих уже в лесу догнала, и снегоходы не помогли. Эт она только на солнышке квелая, а ночью скачет – что твоя коза! А уж зимой...

Потрясенный Потапов встал и опасливо подошел к своему спасителю. С высокого порога крохотная Маррь отлично просматривалась в обе стороны. Сергей Иванович как раз успел заметить, как скрылась между елок ярко-красная курточка Алены Виртонен. Следом за ней с огромным отставанием плелось существо, голыми руками убившее Лешку Ильина.

– Как... – Потапов нервно сглотнул, – как вы ее назвали?

Дед Хилой смерил учителя хмурым взглядом из-под разросшихся седых бровей.

– Сказки, говоришь, собираешь? – невпопад ответил он. – А слышал такую: жили-были старик со старухой, и не было у них детей. Уж сколько они Христу ни молились – все без толку! А как пошли они в лес дремучий, старым богам поклонились, вылепили себе дитя из снега, так и ожила она. Подошла к ним да молвит: тятенька, маменька, я теперича дочка ваша, оберегать вас стану. Только горячим меня не кормите – растаю! Обрадовались дед с бабкой да назвали девчонку...

– Снегурочкой... – шепотом закончил Потапов.

Дед Хилой кивнул. У кромки леса мелькнула в последний раз и исчезла грушевидная фигура женщины в грязной ночнушке.

– Далеко не убежит, – старик отнял руку от морщинистого лба. – К утру назад воротится. Пойду-ка к Тойвовне схожу, мукой одолжусь, раз такая оказия.

Кряхтя от усердия, дед Хилой натянул резиновые калоши и ушел. К соседке. За мукой. Как будто мир по-прежнему оставался нормальным.

Дед Хилой вернулся с берестяным лукошком, в котором, помимо муки, оказалась пыльная литровая банка и мешочек с неведомым содержимым. Привычно заложив засовом толстую

дверь, старик скинул калоши и отправился на кухню. Потапов набрал побольше воздуха в легкие и отправился туда же, с головой нырнув в смердящий воздух. Источник тухлого запаха обнаружился сразу: жестяной таз, стоящий в самом углу, за печкой. А точнее, его содержимое – пяток ворон со свернутыми шеями. По черным перьям лениво ползали жирные личинки, при виде которых желудок Потапова подпрыгнул к горлу. Глядя на побледневшего учителя, дед Хилой прикрыл таз пыльным мешком.

– Ты морду-то не криви, сказочник! Эта падаль тебя от смерти спасла... а может, и от чего похуже.

Осторожно высунув нос из-под ладони, Потапов наконец решился вдохнуть. Не сказать, чтобы воздух очистился, но делать было нечего.

– Разве может быть что-то хуже?

– Кому как, – философски заметил старик. – Оно может и впрямь, ничего хуже смерти нет. Да вот только помирать, опосля себя целый выводок одноглазых щенков оставляя... мне б совсем тоскливо было. Дети – они ж страшнее семи казней египетских. А лиховы дети...

Хилой замолчал, укладывая в топку нарезанную щепу и бересту. Чиркнула спичка, и огонь проворно перепрыгнул на маленький деревянный шалашик. Белый дым потянулся было к дверце, но быстро опомнился и устремился кверху. Загрузив печь дровами, дед Хилой захлопнул дверцу. Эмалированный чайник звякнул закопченным дном, встав на плиту. Под напором засаленной открывалки с принесенной банки слетела крышка. В острой вони гниющей птичьей плоти проклюнулась тонкая нотка клубничного аромата.

– Вот. Тойвовна гостюшке передала, – старик подвинул к Потапову чайную ложку и блюдце со сколотым краем. – Тебе, значит. Почаевничаем. Это снегуркам горячего нельзя, а нам...

– Вы сказали, что это... – чтобы не смотреть на укрытый мешком таз, Потапов сел вполоборота, – ...что это меня спасло. Как?

На долгое время воцарилось молчание. Пока на плите не забулькал чайник, старик сидел за столом, демонстративно не глядя в сторону Сергея Ивановича и занимаясь своим делом. В таинственном мешочке оказались измельченные травы, ароматные настолько, что даже мерзкая вонь, сдавшись, расползлась по углам и затаилась, выжидая время, чтобы вернуться. Только когда чашки наполнились чаем, а в блюдах растеклись кровавые лужицы, украшенные крупными ягодами клубники, дед Хилой наконец заговорил:

– Ты, кажись, сказки собирать приехал? Ну так и слушай, старших не торопи!

Покорно склонив голову, Потапов принялся прихлебывать обжигающий травяной отвар. Оледеневшее от страха нутро, кажется, начало оттаивать.

– Лишке горячее пить – себя губить. Она суть что? Упырь обнакновенный! Просто не кровушку горячую ест, а токмо мертвечину холодную. Видал, как она дружка-то твоего оприходовала? Ни единой капельки не пролила! Трупоеды от живой крови дуреют шибко, потому как меры не знают. НажрутсЯ от пуза, а потом болеют... Ну а когда она тебя душить стала, я ее вороной и угостил. Лишке – чем гнилее, тем слаще! А ты как думал, я для себя эту падаль готовлю? Мы Лишку по очереди подкармливаем, штоб, значит, за нас не взялась...

Старик слизал с ложки огромную ягоду и довольно причмокнул. Потапов, внутренне содрогаясь, вспомнил широкую пасть и зубы... слишком тупые для того, чтобы рвать живое мясо. Больше пригодные для дробления костей, в которых таится сладкий мозг.

– Лишка – это Лихо? Лихо одноглазое?

– Смышленный, – кивнул хозяин, счищая с ложки излишки варенья о край блюда.

– А... а Снегурочка?

Над столом вновь повисло молчание. Дед Хилой задумчиво выхлебал кружку до дна и наполнил по новой. Когда Потапов решил, что старик вновь обиделся, тот внезапно начал рассказывать. Он говорил долго, путано, с какой-то неявной, но плохо скрытой горечью.

– У нас за Марревой гатью испокон веков лихи водились. Когда моя прабабка маленькой была, они в лесу еще чаще встречались, чем теперь зайцы. Так она сказывала. А когда ее прабабка девкой сопливой была, так и вовсе, мол, целыми семьями жили, голов по двадцать. И людей тогда не губили. Их не тронь, и они не тронут. Зверя – вдоволь, рыбы, птицы – на всех хватает! Ягода, грибы, корешки разные – не то, что сейчас. Летом жирок копили, а зимой спали, совсем как косолапые... но уж если просыпались по зиме, всем худо приходилось. Наша Снегурочка уже восьмую зиму не спит...

Забыв про стынувший в кружке чай, Потапов слушал, разинув рот. Уста хмурого, неприятного старика отматывали назад историю, столетие за столетием, к самому началу времен, где бок о бок с Человеком жили те, кто сегодня уцелел лишь в сказках. Туда, где шаманские пляски призывали дождь и солнце, в покрытых ряской водоемах плескались пышногрудые русалки и рыскала под землей белоглазая чуждь. Где Одноглазое Лихо было такой же частью природы, как вороны, и медведи, и олени, и белки, и другие четвероногие, пернатые и ползучие твари.

Внимая торопливой, сбивчивой речи марревского старожилы, Потапов с головой погружался в мир древнего волшебства, жестокой кровавой магии. Становился сторонним наблюдателем грандиозной битвы за место под солнцем, в которой проигравшая сторона исчезала навсегда, превращаясь в предания, легенды и детские страшилки. Избегая войны с более сильным и жестоким противником, Старый Мир откатывался все дальше и дальше. И постепенно не осталось лесов настолько глухих и далеких, чтобы туда не добрался вездесущий Человек, жаждущий новых охотничьих угодий, рыбных рек и пахотных земель. А потом чужеземцы из-за моря подарили Человеку Крест. И Человек захотел очистить новые земли от скверны...

Страх исчез. Смытый душистым травяным чаем, уступил место жалости. Тоске по убитой сказке. В голове шумело, точно после выпитого литра водки. Разглаживая на столе мятую распечатку монографии Гревингга, Сергей Иванович втолковывал ничего не понимающему, осунувшемуся старику:

– Всегда не мог понять, что за мораль у этой сказки? Не лепи детей из снега? Не прыгай через огонь? Не слушай подружек? Какой позитивный посыл несет эта история? Чему научит ребенка? А ведь просто искал не там! Кто бы знал, а?! Горячим меня не кормите...

Она действительно вернулась только с рассветом. Дед Хилой уже спал, забравшись на прогретую печь, а Потапов, распахнув ставни, смотрел, как потягивается просыпающаяся заря. Снегурочка вышла из леса, стряхивая с босых ног рваные останки ночного тумана. Вышагивая легко, почти грациозно, она больше не напоминала пьяную гориллу. Прямая спина, высоко поднятая голова, уверенный шаг. Вся она даже стала как будто стройнее и чище. В грубых линиях ее лица, в тяжело обвисших грудях и отяжелевшем от многочисленных родов животе Потапов видел черты языческих богинь, чьи статуэтки по сей день находят от Урала до Дальнего Востока. Вымокшая в росе шерсть серебрилась и отблескивала в лучах зарождающегося светила. В это мгновение Снегурочка казалась почти прекрасной. Неземной. Осколком старого дикого мира. Частичкой зимы, неведомо как уцелевшей жарким засушливым летом.

Потапов не мог сказать, сколько из этого он действительно увидел, а сколько дофантазировал, вдохновленный рассказом Хилой. Волшебство пропало, когда кротовьи глазки учителя разглядели среди травы яркое пятно. Правой рукой Снегурочка волокла за ногу тонкое девичье тело в разорванной красной куртке. На вывернутом запястье мертвой Алены болтался включенный полицейский фонарик. Стиснутая ладонь по-прежнему сжимала рукоятку ножа. Стальное лезвие, обломанное чуть выше середины, испачкалось в чем-то черном и липком.

И дни потянулись транспортерной лентой – такие же повторяющиеся, бесконечные и черные. Еще затемно дед Хилой уходил на огород, отгороженный от Снегурочки высоким забором. Там он копался на грядках, пропалывал, рыхлил и поливал, а к обеду, проверив ловушки

на ворон, возвращался в дом, прячась от полуденного солнца. Не зная, куда себя пристроить, Потапов слонялся по двору, стараясь не подходить близко к воротам.

На восьмой день вынужденное заключение стало невыносимым. Мертвого Лешку Снегурочка уволокла в сторону леса, а тело Алены, брошенное на самом солнцепеке, быстро превращалось в падаль. Каждую ночь лихо приходило к нему кормиться. К счастью, батарейка фонаря разрядилась еще до наступления сумерек. Однако Потапов все равно не мог уснуть, слушая чавканье, хруст разгрызаемых костей и отвратительные сосущие звуки. А по утрам белесая тварь подтаскивала исковерканные останки поближе к окну и совсем по-звериному принималась на них кататься. Глядя на это дело, дед Хилой мрачно шутил:

– Покатайся, поваляйся, Аленкина мясца поевши... – усмехался он, не зная даже, что совершенно точно угадал имя убитой Виртонен. – Вишь, как изводится, Лишка-то! Эт она для тебя старается, невеста бесова... Марафет наводит...

Юмор у него был сродни хирургическому: циничный, выстраданный долгими годами, проведенными бок о бок со Смертью. И на восьмой день Потапов понял, что если еще хоть часок проведет среди удушающей жары, омерзительной вони и чернушных шуточек, то сойдет с ума и сам выскочит к одноглазой твари с предложением руки и сердца.

В рюкзаке покойной Виртонен нашлось все необходимое. Сидя на крыльце, освещаемый лучами восходящего солнца, Потапов обматывал найденную во дворе палку обрывками Аленкиной футболки, тщательно вымоченными в бутылке с бензином для костра. Он пытался почувствовать момент, ощутить себя древним витязем, идущим на бой с темными силами, но получалось слабо. Потапов не был рожден для битвы. Для пересчета всех его драк хватало пальцев одной руки. И даже тогда неиспользованных оставалось больше половины.

Закончив импровизированный факел, Потапов встал возле высоких ворот, все еще надеясь уловить важность момента, какой-то особый мистический знак. Однако все оставалось прежним: лысеющий учитель истории с пересохшим от волнения горлом по одну сторону забора, и беловолосая одноглазая погибель, шумно сопящая по другую. Слышно было, как за домом сам с собой разговаривает дед Хилой. Потапов недоуменно пожал плечами, поджег факел, откинул засов и шагнул на улицу. Будто пересекая черту между миром живых и миром мертвых.

С пылающим факелом в руке он больше не боялся. Отдавшись во власть электричества, люди утратили веру в огонь. Неудивительно, что за восемь лет никто даже не подумал о том, чтобы сжечь одноглазое лихо. Люди слишком привыкли полагаться на свои игрушки. Навигатор выведет из самой глухой чащи, ружье защитит от хищников, а фонарь разгонит тьму. Вот только как быть с теми, кто сам является частью тьмы? Сжечь! Огонь вечен, он никогда не боялся темноты и того, что в ней сокрыто. Потапов мысленно поблагодарил погибших студентов, подаривших ему время, чтобы осознать это.

При виде огня единственный глаз Снегурочки широко распахнулся. Страх – первая живая эмоция, которую Потапов прочел на грубой уродливой морде. Снегурочка торопливо отпрянула. Пылающий факел очистил дорогу в доли секунды. Можно было спокойно уходить, двигаться к городу, ночами отгораживаясь от нечисти ярким костром. Но до ближайшей деревни дней пять ходу. Без еды и воды протянуть можно. Без сна – никак. И потому Потапов собирался драться.

– Ты чего это удумал, иуда! – взревело над самым ухом.

Жесткие пальцы впились в плечи, отбрасывая Потапова от сжавшейся перепуганной твари. Отлетевший в сторону факел упал в высохшую колею и погас. Учитель вскочил на ноги и едва успел закрыться руками, как на него налетел дед Хилой. Удар у старика оказался поставленным, хлестким и на удивление болезненным. Чувствовалось, что в молодости дед не пропускать ни одной деревенской драки. Но разница в возрасте давала о себе знать. Совершенно



не боевой Потапов все же был моложе и сильнее. Первый же его удар расквасил старику нос, выбив из ноздрей красную юшку. На этом драка и закончилась.

Роняя сквозь пальцы красные капли, дед Хилой со всех ног бросился к дому. Потапов резко обернулся, понимая, что опоздал, уже почти чувствуя прикосновение холодных ладоней к своей шее... Но вместо этого увидел, как Снегурка, жадно втягивая медный запах вывернутыми обезьяньими ноздрями, точно зачарованная, пляшет вслед старику. Сейчас она походила на голодную собаку, не смеющую стянуть лакомый кусок со стола хозяина. Потапов зашелся безумным визгливым хохотом.

– Так, значит?! – заорал он, заставив Снегурочку обернуться. – Горячим тебя не кормить, да?! А ну, сука!

Он неуклюже прыгнул к обглоданному телу Аленки Виртонен, даже в смерти все еще сжимавшей покрытый черной кровью нож. Прижался запястьем к обломанному лезвию, с силой надавил. Было почти не больно.

С окровавленной рукой вместо оружия, он встал, шагая навстречу Снегурочке. Та завертелась вокруг, то подаваясь вперед, то отпрыгивая обратно. Жадно клокотало звериное горло. От нетерпения Снегурочка жалобно поскуливала. Кровь уже пропитала рукав «энцефалитки» до локтя, когда она, не выдержав, кинулась к Потапову и присосалась к открытой ране, подобно огромной белой пиявке. Только тогда Потапов почувствовал настоящую боль. Тупые треугольные зубы жадно терзали разрезанное запястье. Красные пятна, перепачкавшие оскаленную морду лиха, казались ненатуральными. Напрасно Потапов отчаянно бил свободным кулаком в рыхлое тело кровососа. Снегурочка только сильнее впивалась в рану. Когда же она наконец оторвалась, Потапову показалось, что жизни в нем осталось на самом доньшке. Под коленки точно ударил какой-то невидимый шутник – учитель рухнул на землю, как мешок с ветошью. Рядом на четвереньки опустилась перемазанная кровью Снегурочка. Выгнув спину, она зарылась грязными пальцами в прогретую пыль и тут же вновь распрямилась. Из объемистого живота донеслось громкое урчание. Безгубая пасть распахнулась, выплескивая наружу сгустки свернувшейся крови и непереваренные куски гнилой плоти. Снегурочку рвало так долго, что Потапов успел наскоро перетянуть поврежденную руку оторванным рукавом. Кое-как встав, он доковылял до факела. Непослушными пальцами вытащил из кармана зажигалку... Шатаясь как пьяный, подошел к Снегурочке и ткнул огненной палкой прямо в грязно-белую паклю волос. Полыхнуло так, что не ожидавший этого Потапов едва не упал. Над улицей пронесся визг, протяжный и жуткий...

Сколько времени он провел, отрешенно пялясь на горящее тело лиха, Потапов не знал. Опомнился лишь, когда увидел, что пустынную улицу Марри, точно призраки, заполнили скрюченные старостью фигуры. Среди них, зажимая ноздри окровавленной тряпкой, стоял и дед Хилой. Потапов ткнул потухшим факелом в чадающие останки.

– Вы свободны! – крикнул он старикам. – Теперь вы свободны!

Получилось как-то пафосно и неискренне. В ответ – гробовое молчание. Лишь далекое эхо еле слышно коверкает окончание глупой пошлой фразы. Сергей Иванович растерянно огляделся. Что-то блеснуло в дорожной пыли под ногами, послав солнечного зайчика в сощуренные глаза Потапова. Потерянные очки так и лежали здесь все это время. С трудом удерживая равновесие – обескровленное тело слушалось плохо и все норовило упасть, – Сергей Иванович поднял их и водрузил на нос. Лица марревских жителей впервые проявились перед ним ясно и отчетливо, точно кто-то подкрутил резкость картинки этой вселенной. Недовольство, испуг, раздражение и даже ярость прочел он в них, но никак не облегчение. Никто не радовался избавлению.

Сплюнув отсутствующей слюной, Потапов, шатаясь, ушел во двор Хилоя. Вернулся он уже с топором и пустым рюкзаком. Обгорелую голову Снегурочки, зияющую единственной опустевшей глазницей, он отсек только с пятого удара. Накрыл рюкзаком, сбивая остатки пла-

мени, и в этот же рюкзак спрятал свой трофей... свою будущую славу. После чего презрительно сплюнул вновь, на этот раз демонстративно, и покинул Маррь, оставив за спиной полтора десятка стариков, медленно стягивающихся к догорающей Снегурочке.

Седенькая старушка Марта Тойвовна по-детски дернула деда Хилоя за рукав.

– Староста, чего делать-то будем?! – голос ее подрагивал от испуга. – Он же других приводит!

– Городские опять иконы мои забрать захочут, – прошамкала беззубая бабка Анники. – Иконами разве можно торговать-то?! Господи, прости!

Она мелко перекрестилась двумя перстами. Нестройный хор голосов загудел со всех сторон, разделяя опасения односельчан.

– Землю! Землю отымут! – пророчил скрюченный ревматизмом дед Федор, заботливо обнимающий супругу, вперившую ослепшие глаза в пустоту.

– Тихо! – дед Хилой поднял мосластые руки вверх, пресекая базарный гомон. – Тут вот что... Я с неделю назад у Марревой гати лося дохлого видал. Лишкиных пацанов работа. Так что очкарику нашему житья – до первых сумерек. Щенки не выпустят. Они ему за Лишку сами голову открутят... уж они-то точно мамку услышали...

– Староста, слышь-ка! А ну как очкарика искать придут? А и не искать, так просто кто про нас прознает? Каждый год ведь приходят! Кто нас защитит-то теперь?

Тяжелый взгляд старосты пополз по лицам сельчан, добрался до согбенного деда Федора и остановился.

– Сосед, а не пора ли вам с Дарьюшкой детишек завести? Очередь-то ваша вроде...

Дед Федор еще крепче прижал к себе жену и кивнул. Та благодарно погладила его по морщинистой руке. Ее ослепшие глаза наполнились слезами. Одинокие старухи завистливо ворчали что-то невразумительное, не смея спорить в открытую.

– Значит, решено, – дед Хилой рубанул воздух ладонью, – как снег ляжет, пойдете за Марреву гать. Новую Снегурку будить надо.

– Господи, – прошептала слепая Дарья. – Господи, счастье-то какое!

## Шимун Врочек Человек-дерево

Во мне растет дерево.

Стоит задержаться на несколько минут на одном месте, как я пускаю корни. Сквозь мою кожу, загрубевшую, в чешуйках наростов, пробиваются тонкие побеги, пронизывают стул, на котором я сижу. Будь он деревянным, я бы уже врос в него намертво.

Но он пластиковый. Так что я всего лишь обвиваю его, словно чертова орхидея. Я ничего не понимаю в садоводстве. Я и цветы-то дома не держал – пока их не завела жена...

Теперь у нас в доме пятнадцать горшков. И я.

Где-то в одной категории с фикусом.

Сейчас я щелкаю по клавишам ноутбука, а из кончиков пальцев пробиваются тонкие побеги. Я – дерево. Я – человек. Я ходячая двойственность и метафора во плоти.

Моя жена не была бревном в постели, зря вы это. Ну, может, чуть-чуть деревянная. Именно в метафорическом, образном, смысле. А не потому, что мать у нее – ведьма.

Да, ведьма. Жуткое создание. Я знаю, многие так говорят о своих тещах. И теперь думаю, что некоторые – я не говорю, что все, но кто знает? – может, они не преувеличивали, называя маму своей жены исчадием ада, ведьмой, монстром, голодной глоткой, летающей бензопилой и глазами дьявола. Считаете, это все метафоры, а на самом деле это простые, возможно, даже милые пожилые женщины?

Я не уверен. От этих метафор пахнет, простите, совсем не бутафорской кровью.

Я становлюсь деревом. Могу стоять неподвижно целыми часами. Автоматически поворачиваюсь лицом к солнцу. Могу определить, где находится север – с легкостью, без всякого компаса. Потому что именно с той стороны у меня сильнее растет щетина.

Я не шучу. Пожалуйста, поверьте мне. Я не шучу. Я в ужасе.

Казалось бы, самые обычные вещи становятся пугающими, если происходят буквально. Вы когда-нибудь обращали внимание, сколько метафор мы используем в речи? Нет? А я знаю. Не потому, что я фанат лингвистики... А потому, что то, что для вас забавно, для меня – ужасающе и буквально.

Вот сейчас я практически прирос к стулу.

Обвился, пустил корни. Спина деревянная. Руки буратиноподобные. Я чертов Пинокио – за исключением того, что у него была надежда стать человеком... а я эту надежду с каждой минутой теряю.

Я еще человек. И уже дерево.

Я не бил свою жену, зря вам это сказали. Честное слово, зря. Если бы я знал, чем это кончится...

Никогда не связывайтесь с милыми пожилыми женщинами. За этой маской скрываются пропасти ада и разверстые пасти монстров. Годзилла нервно курит в радиоактивном саду добра и зла по сравнению с этими женщинами.

На самом деле все просто.

Я ударил Веру, она позвонила маме, та наложила проклятие.

Логическая цепочка, скажете? Так мне и надо, скажете?!

А рассказать вам, как я теперь бреюсь?

Какого цвета щетину вытряхиваю из-под ножа электрической бритвы?!

Зато сейчас, когда жена ушла от меня, забрав детей, я могу сказать – стерильно. В доме стало стерильно. Чистый хлорофилл. Солнечные ванны. Если бы я не боялся выходить на улицу, то проводил бы там целые дни. И холод не помеха. Возможно, я единственное дерево

в мире, которое может себе позволить билет в Грецию. Только меня пугает перелет... потому что я могу пустить корни. Прирасту к креслу. Останусь в самолете навсегда и через несколько дней погибну от недостатка света. Воду-то, надеюсь, мне будут приносить?

Так вот, жена ушла не потому, что я ее ударил. А потому что я стал другим. Я превратился в монстра. Со мной стало невозможно иметь дело.

Забавно, что, когда тебе больше всего нужна помощь, тебя исключительно тщательно изобьют ногами.

А ведь это ее мать со мной сделала! Милая пожилая женщина ростом с гнома, ямочки на щеках, плетение из бисера. Все вокруг считали ее обаятельной. А я с первого дня видел чудовищный оскал за этими пожилыми ямочками. В какой-то сказке у ведьмы были железные зубы. То есть своих зубов у нее не было, она вставала с утра, брала с ночного столика железные челюсти, похожие на медвежий капкан, и засовывала в рот. Потом два раза щелкала зубами, проверяя, как челюсть встала на место, и – улыбалась.

Никаких иллюзий. Как только я попал в ее дом, это случилось. Вера пошла вперед, я замешкался в прихожей...

Снимая ботинки, я оперся на стену. Волнение, неловкость. И нажал на выключатель. Свет погас. Через мгновение я его включил, сердце колотилось так, словно я взбежал на шестнадцатый этаж (даже в восемнадцать лет я бы запыхался, пожалуй, а мне было не восемнадцать). Она стояла и улыбалась. Мило так. С ямочками. А я торчал как дурак с мокрой спиной. Волосы на затылке шевелились (метафора). И думал: показалось. Дурацкая ерунда.

Но я знаю, и тогда, в сущности, знал. Нет, не показалось.

Когда свет погас, в темноте продолжали гореть два красных глаза. Знаете, как бывает на фотографиях, когда вспышка слишком близко? Или у кошек? Знаете?

В темноте, пока я не включил свет, на меня смотрели глаза зверя.

И на всех фотографиях, это я задним числом понимаю, у тещи всегда были в глазах красные точки.

...Надеюсь, это не передается по наследству.

Потому что в Вере этого нет. У нее много недостатков, она вспыльчива, упряма, мнительна, прижимиста и одновременно транжирит деньги, как пьяный легионер «Спартака»; она то зла, то ревнива, то обидчива, но одного в ней нет. Она – не ведьма.

И надеюсь, это не досталось моим дочерям. Сейчас, пока я щелкаю по клавишам затвердевшими от побегов пальцами, я все еще на это надеюсь.

«Все в порядке, Саша?» – спросила теща. Очень милым голосом. И улыбнулась. Но я слышал, клянусь, я слышал за этим звериный рык! Хриплый насмешливый хохот гиены, рычание бешеного пса, скулящий горловой клекот павиана, низкий рев крокодила, завидевшего добычу...

Я боялся ее. Хотя и не признавался в этом даже себе. Милая пожилая женщина ростом мне по грудь. Чего тут бояться?

Теперь-то я знаю.

Я говорил, что в доме стерильно? Так и есть. Вера забрала даже горшки с комнатными растениями. Только фикус остался, потому что я его не отдал.

В квартире пусто. И светло.

Большие стеклянные окна. Никаких штор. Много солнечного света. Открытые ставни, прекрасный воздух. Никаких детей, собак, домашних животных и обязанностей. Все условия для творческого роста.

Или, в моем случае, просто роста.

Я, холодильник, микроволновка и телевизор – мы остались наедине. Что еще нужно мужчине?

Пиво, сосиски, колбаса, яичница (если остались яйца). Макароны. Доширак. Замороженная пицца.

Еще пиво.

Хотя теперь мне больше нравится вода. Я наливаю до краев пластиковый таз, добавляю ложку сахара и опускаю туда ноги. Блаженство.

Или стою в душе часами, а вода стекает по моей огрубевшей, покрытой наростами коже. Я даю побеги. А затем тщательно сбрываю их... Потом лежу на застеленной пленкой кровати, чтобы не прорасти в глубь матраса (одного раза мне хватило), и думаю.

Я скучаю по ним. Когда в доме нет женщин и детей, совершенно нечего делать. Полная бессмысленность. Пиво теряет вкус, телевизор смотреть нет интереса, не хочется ничего. В этот момент я действительно чувствую себя деревом.

Хотя, возможно, деревья тоже о чем-то волнуются.

Чего-то хотят.

Парадокс пустого пространства. Когда дети далеко и кто-то другой читает им сказку на ночь (этого другого мне в ту же секунду хочется убить), когда нет ворчания жены (сделай то, сделай это, послушай, что мне сказали), нет и желания что-либо делать. Все впало в спячку. Желания собрали чемоданы и умчались в другой город.

Простите, я прервусь. Не могу долго сидеть на одном месте. Сейчас я побреюсь, попью воды, постою на солнце (я не рискую выходить на улицу, а загораю на кухне у окна, раздевшись) и продолжу. Мне нужно собраться... еще одна метафора, довольно жуткая... чтобы рассказать, что было дальше.

Хотя на самом деле рассказать нужно, что было «до».

Я вернулся. Руки клейкие от сока. На правой пальцы обстрижены хуже. Я так и не научился управляться с ножницами левой рукой. Зато по случайности Вера, уходя, забыла забрать маникюрный набор из ванной комнаты. Мне повезло.

Я всегда так думаю, когда обрезаю крошечные побеги под корень:

«Мне повезло».

Я чувствую нежный запах древесного сока. Он освежает, словно глоток морозного воздуха, когда стоишь на вершине снежной горы, собираясь съехать вниз на лыжах, тебе одиннадцать лет и светит солнце.

Вот в чем смысл всего этого – если в этом вообще есть смысл. Я перестал обманывать сам себя. Хотя до сих пор не понимаю, почему я это сделал...

Почему я ее ударил.

Моя жена не ангел. Это точно. Жизнь с ней не была безоблачной, но все же это была нормальная жизнь. И те приступы ненависти, что я испытывал к ней, когда хотелось заорать в лицо, а затем шваркнуть эту ненавистную суку в стену, в угол, об косяк – это было редко.

Хотя было.

Было.

Иногда я думаю: может, это все ее характер? Эта пугающая, выносящая мозг уверенность в собственной правоте. Чем меньше Вера знала, тем больше была уверена, что права.

Медиакогнитивное искажение. Эффект Даннинга – Крюгера.

Черт. Смешно, наверное, слышать такие слова от человека, который ходит по пустой квартире, теряя листья? Но это правда. Я не был *дубом*. Я и сейчас не совсем дуб – хотя пугающе близок к этому.

Не помню, из-за чего я вышел в тот раз из себя. Думаю, виновато красное вино. Сухое бордо урожая две тысячи одиннадцатого года. Я заметил: если пиво делает меня добродушным, расслабленным, то вино – наоборот. Я становлюсь резок и нетерпим. Возможно, красное вино – это чертово французское бордо – лишает меня иллюзий? Возможно, это истинный «я» – под

вином? Жестокий и мрачный ублюдок. Жена удивлялась, что со мной. Она не знает и половины. Она не знает – и надеюсь, никогда не узнает, – как часто была близка к тому, чтобы быть переломленной, как тростинка, и брошенной в угол. О, это было. Каким-то чудом я удерживался. На самом деле я хотел схватить ее и трясти – как трясет огромная собака тряпичную куклу. Распотрошить ее. Выпустить вату. Убить.

Сейчас я написал это и чувствую подступившую под горло правду. Мне не легче, если вы об этом. Меня приводит в легкое опьянение – нет, не красное вино и не пиво, а ощущение, что я наконец-то говорю то, что должен сказать. Излить душу – так это называется?

Может, мне просто нужно завести личного психоаналитика? Чтобы рассказать все и рыдать ему в плечо от нахлынувшего катарсиса... или как его там...

Но потом я понимаю – это не сработает. Просто добавится еще один человек, которому я вру.

Возможно, когда-нибудь я пойму, почему красное сухое опьянение с нотками фруктов, выращенное на каком-то там склоне виноградника с какой-то там горы во французской провинции Бордо, было мне так... приятно.

Может, я тоже монстр?

Схожу попить воды. Кажется, мои корни совсем пересохли. Постараюсь не уронить все листья по пути. До встречи.

Я ударил ее тогда. Это правда. Схватил за шею и тряс как куклу. Это тоже правда. И швырнул в угол. Легко. Знаете, я сильный, хотя по внешнему виду не скажешь. Но вы не представляете, насколько я сильный. Ее пятьдесят четыре килограмма летают как пушинка, когда я пьян. Я могу сделать все, хотя тяжелее ее всего на десять кило...

Ладно, на пятнадцать.

Возможно, я и есть главный монстр в нашей семейке Адамс.

И я получаю от этого удовольствие. Короткие мгновения побыть тем самым огромным, ужасающе сильным монстром.

Возможно, когда в тот день погас свет и я увидел вместо глаз тещи горящие огни, она, моя теща, тоже кое-что увидела? Увидела, кто скрывается за смущенным молодым человеком в плюшевом пиджаке университетского преподавателя?

Увидела два красных глаза. И испугалась.

Все мы хотим лучшего для наших детей.

Теща приезжала в гости. Нянчилась с детьми. Но младшая к ней на руки не пошла. Ни в какую. Рев и слезы. Истерика.

Вера смутилась. И начала пихать младшую теще в руки, несмотря на вопли...

Меня до сих пор это бесит.

Возможно, дети видят больше, чем взрослые. Возможно, детям даже не нужно выключать для этого свет.

А возможно, я опять говорю: возможно... Возможно, младшая не хотела к бабушке на руки... потому что у нее уже был любимый монстр.

Обожаемый папа. Па-па. Па-пааа.

Не мог писать. Дрожали руки. Как представлю, что младшая где-то далеко, в тысяче километров от меня, лежит в темноте кровати и канючит: па-паа...

Одного этого достаточно, чтобы я разрыдался.

Странно, какой я стал чувствительный. Одиночество обостряет чувства, даже если это чувства человека-дерева.

Ха. Сходил на кухню, налил чаю – скорее по инерции. Мне перестал нравиться вкус, хотя раньше я не мог и часа прожить без чайной кружки. Но старые привычки живучи. Сейчас я



шлепал по пустой квартире, где нет ни одного ковра, а на темном паркете оставались листочки. Мелкие зеленые листочки. Вы знаете, как линяет кошка? Даже короткошерстная? Вроде бы ничего такого. А потом оказывается, что шерсть повсюду. Здесь свалывшиеся комки, там целый слой... так же и с листьями. Они крошечные. Но они везде.

Сейчас я шел, и вокруг была осень.

Все деревья по осени линяют.

Теща могла превратить меня в ель. Или там, в ливанский кедр, вечнозеленый. Или в пальму. Но нет, я оказался из породы лиственных...

Я не знаю, как она это сделала.

То есть у меня есть некоторое представление, как это происходит в фильмах. Три макбетовских ведьмы, крюконосые, в бородавках, склонились над дымящимся котлом. Или это из мультика? Неважно.

Скорее всего, она не склонялась над котлом. Может, пошептала. Милое пожилое лицо с ямочками подрагивало, губы шевелились. Глаза светились, но днем этого никто не заметил. Хотя сомневаюсь, что она это делала при людях. Мы, монстры с красными светящимися глазами, предпочитаем показывать свою личину... не прилюдно. А только при жене и детях.

Черт.

Я все еще не понимаю, почему именно в дерево! Растения ей всегда удавались, но я-то тут при чем?

Фигус у нас на кухне – единственный горшок в доме, который Вера не забрала – вытянулся до потолка. Спасибо теще. Это она подарила. Я думал, фикус сдохнет, а он вымахал – куда там. Выше меня на две головы.

Будь фикус моим сыном, я бы через пару лет записал его на баскетбол.

Она меня прокляла. Однажды я проснулся и не смог встать с дивана – спали мы после того, как я ударил Веру, раздельно. Я думал, это просто похмелье. Голова раскалывалась. Когда я все же встал – отодрал себя от дивана, опять чертова метафора, – на обивке остались несколько крошечных зеленых листочков. И один пожелтевший. Я, как наяву, вижу это.

Теперь я понимаю, что это было началом конца.

А тогда только почесал шею и побрел за таблеткой ибупрофена.

Щетина как-то странно отдавала зеленую...

А потом я начал прирастать то здесь, то там. Торчать под душем часами. Застывать на месте без видимых причин. Чувствовать солнечный свет кожей и направление на север. Беседовать с фикусом.

Еще через месяц Вера ушла. Забрала детей. Потом горшки с цветами, теплые вещи и кошку. Спустя пару недель пришли люди за остальным добром. Тройродная сестра Веры с парнем и грузчиками.

Я еле дождался, пока они загрузятся и уедут.

Потому что в тот день я брлся, заливая все вокруг нежно, как первые липкие листочки на березах, пахнущим соком. Зеленая щетина сыпалась в раковину в белой пене. Я смотрел в зеркало и видел лицо столь древнее, что казался сам себе варваром, выкорчевывающим тысячелетний священный лес...

Хватит. На сегодня заканчиваю.

Хотите фокус? Я поднимаю руки над клавиатурой и вытягиваю пальцы. Если сделать усилие, сосредоточиться...

А можно и не сосредотачиваться.

Ростки все равно появятся. Тут мало что зависит от моего желания. Сначала ощущаешь зуд в кончиках пальцев... затем нарастающую щекотку, зуд становится невыносимым...

И вот они полезли.

Из кончиков пальцев вырастают веточки, крошечные почки набухают и выпускают такие же крохотные листочки.

Только не говорите: «Приятно видеть, как ты растешь над собой».

Я бы очень хотел сказать, что, когда это началось, я потерял чувство юмора. Но нет. Ничего подобного. Да, такое бывает, когда что-то серьезное случается с твоими близкими... но когда с тобой – чувство юмора тут как тут.

Интересно, у деревьев какое чувство юмора?

Я думаю: зеленое.

Я ни черта не понимаю в садоводстве. Поэтому я открыл ноутбук и набрал «что делать, если превращаешься в дерево». Мне предложили исправить на: «если превращаешься в растение».

Хорошо. Да будет так, великий и ужасный гугл.

Первый совет: завести хобби.

Записаться на йогу.

Латиноамериканские танцы.

Прыжки с парашютом.

Кулинарные курсы.

Много гулять. Хороший вариант.

Наконец-то обратить внимание на жену и близких. Ха-ха. Я бы пошутил... но, пожалуй, это как раз тот момент, когда я утратил свое знаменитое «зеленое» чувство юмора.

Заняться стрельбой из лука, дайвингом, борьбой капоэйра...

Второй совет: бросить пить.

Вот тут я не выдержал и расхохотался.

...Когда приехала Верина троюродная сестра Гуля – с молодым человеком и грузчиками, я был морально готов.

Убрал квартиру. Выкинул мусор. Побрился. Троюродная сестра Веры сморщила прелестный носик, процокала каблукками по плитке и заглянула в кухню. Молодой человек следовал за ней как тень. Очень смешно. Невысокая стройная фигурка Гули в приталенном кожаном пиджачке, а рядом – оно.

– Какой приятный запах, – сказала Гуля. Я еле сдержался, чтобы не засмеяться. – Какой-то древесный, свежий. Что это?

– Средство для унитаза, – сказал я.

Грузчики пришли на десять минут позже. Было видно, что им хочется поболтать. Но они молчали. Стильные форменные комбинезоны – синие с рыжим. Это были дорогие грузчики.

Здоровый парень, бригадир, спросил меня где. Я показал на дверь. Игрушки, коробочки, карандаши, колготки – все было свалено в детской, без всякого порядка. Парень кивнул. Для этого их и взяли, дорогих грузчиков. Они собирали вещи в ящики и коробки, паковали сами, без участия хозяев – быстро и оперативно. Бесшумные, как тени, и деликатные, как роботы. Идеальные грузчики для развода.

А мне вдруг стало легко. Чувство неловкости, возникшее, когда приехали сестра Веры и ее молчеловек, исчезло. Оказалось, этим чувством вполне можно наслаждаться.

Наслаждаться чувством взаимной неловкости. Представляете?

Гуля с молчеловеком остались на кухне. Даже не присели, стояли у стола и переговаривались. Каблук Гули нервно постукивал.

Фикус возвышался над ними. Форточки были открыты, в окно светило солнце, сквозняк гулял по квартире. С грохотом захлопнулась дверь в спальню...

Я ушел бродить по гостиной.

Ни о чем не думал. Иногда приятно быть деревом. И ни о чем не думать.

Время от времени я заходил на кухню и интересовался, не хотят ли Гуля с молчелом чаю или кофе. Или апельсинового сока. Просто чтобы позлить. Нервный каблучок стучал чаще. Нет, отвечали мне с холодной вежливостью. Нет, спасибо. Не стоит, у нас все прекрасно.

Хотя по глазам я видел, что меня ненавидят. Презирают. И даже – мной брезгуют.

Эта красивая девочка думала, что с ней – с ней! – никогда такого не случится. У нее будет прекрасная семья, все не так, как у этой несчастной Веры, которая – смотрите, смотрите! – приобрела себе на шею уникального подонка, который слил в унитаз всю ее жизнь.

Наверное, Гуле все рассказали... Ну, уж со мной, говорил взгляд молоденькой сестры Веры, такого не случится. У меня будет счастье, великолепный муж, нет, не этот несчастный – это так, временно, – а настоящий, мужественный, с чувством юмора и ответственности. Удачливый, уверенный в себе и влюбленный. Солидный как король. Кому нужны эти принцы? Что за глупости?

Я даже не злился. Ну, почти.

Слонялся, чтобы не прирасти. Физически чувствовал, как щетина на щеках становится длиннее. Кончики пальцев яростно чесались. Я держался из последних сил. Еще не хватало пустить побеги... прямо перед ними.

Грузчики работали. Бесшумно. Туда-сюда. Синие-оранжевые тени.

Детская наполнялась светом и пустотой. Я старался не смотреть, но краем глаза замечал, что там все свободнее. И больше воздуха. Разве не это нужно каждому дереву? Больше жизненного пространства.

Комната моих детей превращалась в пространство для дизайнерского маневра. «Поставишь там траходром», едко сказала Вера по телефону.

Я ждал, когда они закончат. Я уже не мог терпеть. Голова растворилась в свету, воздухе и пространстве. Я метался, как потерявшая хозяина собака.

Юная красотка Гуля, Которая Все Понимает о Жизни, и ее временное недоразумение старательно отводили взгляды, когда я появлялся на кухне.

Быстрее, быстрее, быстрее. Ну!

Меня начало мутить.

– Долго еще? – спросил я.

Бригадир посмотрел на меня и сказал:

– Почти закончили.

Тон его... Одно скажу: он не был сочувствующим.

Знаете, как бармен. Который выслушает и скажет: тебе хватит, парень. Не то чтобы мне попадались такие. Я и в баре был последний раз много лет назад.

Но в кино бармены всегда правильные. Бюджетная замена психоаналитика.

На мгновение мне стало легче. Я кивнул. И тут же отвернулся, потому что один из грузчиков нес картонную коробку, затянутую пленкой. А там, под пленкой, была игрушка моей старшей. Ослик, тряпичный. Она с ним засыпала, когда была совсем маленькой. Мелкая его настолько любила, что когда мы случайно забыли ослика в аэропорту в Греции, то нашли точно такого же, чтобы сказать ей: ослик вернулся. Путешествовал по миру и вернулся. Домой.

В мгновение ока из меня выбили все мое спокойствие. Вытряхнули, словно из прохудившегося мешка.

– Вы в порядке? – спросил бригадир.

Я снова кивнул:

– Да, конечно. Все хорошо.

Голос был почти нормальным. Я повернулся и пошел на кухню. Я не горел желанием видеть Гулю и ее молчеловеко-тень, но оставаться здесь было нельзя.

А там оказались зеленые листочки. Они лежали на коричневом кафеле – и умирали. Осень, брат, словно говорили они. Для всех деревьев наступает осень. И для тебя она тоже наступила. Это неизбежно.

Я поднял голову. В горле что-то екнуло, и звука не получилось.

Красотка Гуля и ее тень молчали, глядя на меня. Виногато? Не знаю. Но я чувствовал исходящий от молчеловека запах... неуверенности? Страх?

Такой легкий запахок. И еще от него пахло кровью фикуса.

Фикус возвышался, скривившись от боли. Видимо, молчел, устав от ожидания, стал обрывать листья. Фикус молчал, но я слышал его стон. Его отчаяние.

В следующее мгновение я оказался рядом. Взвизгнула Гуля.

Треск ткани.

Грохот моего сердца, неповоротливого, гулко, покрытого корой.

Молчеловек оказался щуплым и легоньким (хотя на самом деле был выше меня на голову), я поднял его за ворот и втиснул в стену. Туда, где раньше был телевизор. И до сих пор оставалось светлое пятно с темным контуром.

Теперь говорил и показывал молчел. По этому каналу шли исключительно фильмы ужасов. С искаженными лицами крупным планом. Сопли и слезы прилагаются.

Неужели он был таким слабым? Не знаю. Не уверен.

Возможно, он просто увидел красные огоньки у меня в глазах?

– Помогите! – вопила Гуля. – Отпусти его, отпусти, отпусти!

– Это моя жизнь, – сказал я. – Это моя жизнь. Это моя жизнь.

– Отпусти! Отпусти его! Помогите! Кто-нибудь!

– Ты слышишь, это моя жизнь.

Прибежали грузчики и оторвали меня. Гуля кричала про полицию. Молодой человек сопел, одергивая одежду. Грузчики держали меня – с трудом. Я говорил, что я сильный?

– Все, мужики, – сказал я спокойно. – Можете отпустить.

Бригадир внимательно посмотрел и кивнул. Грузчики переглянулись. Кажется, они опасались, что я их покусая. Меня отпустили.

Гуля кричала. Молчеловек пытался прийти в себя.

Я повернулся, и Гуля замолчала.

– Спасибо, что зашли, – сказал я. Улыбнулся ослепительно. – Передайте Вере мои наилучшие пожелания.

Гуля открыла ротик. И снова закрыла.

Я представил, что просовываю язык между этих розовых губ и – не ощутил ничего. Эта красивая девушка меня совсем не возбуждала. Она для меня была... никакой. Словно пластиковая игрушка. Я просто устал.

И она это поняла.

– Псих! – сказала Гуля и выцокала каблучками нечто презрительное. Но получилось скорее детское и обиженное. Человеко-молодой вышел следом, поправляя разорванный воротник рубашки.

Бригадир махнул рукой, и грузчики вернулись к работе.

Бригадир остался в кухне. Я решил, что он меня понимает. Понимает, что происходит. Понимает, что из меня выдирают куски мяса, а я остаюсь здесь, кровотока – живой человек, который – этого бригадир не мог знать – превращается в дерево. Буквально.

– Пить бесполезно. Не помогает, – сказал он неожиданно. – Сначала ничего, а потом чувствуешь себя полным говном.

Я кивнул. Решил, он говорит о себе. Потому что моя проблема точно была не в алкоголе.

– Но все равно все через это проходят, – он достал из кармашка на груди визитку – сине-оранжевую, – перевернул и на белой стороне написал номер и адрес.

– Знаете, что это? – спросил он. Протянул мне визитку.

Я прищурился. Глаза устали так, словно туда насыпали песка. Но руку за визиткой я не протянул.

– И что?

– АА. Общество анонимных алкоголиков. – Он остался спокоен, словно не заметил враждебных ноток в моем голосе. Я поднял брови. Бригадир усмехнулся: – Все через это проходят. Мы собираемся по пятницам и вторникам каждую неделю. Просто оставляю это здесь. Номер телефона мой. Если захочешь поговорить, звони в любое время.

Он положил визитку на стол.

– Кажется, что это ерунда. Но это действительно помогает.

Похоже, он принял меня за кого-то другого.

Я растянул губы в улыбке.

– Я не пью. То есть я не алкоголик. Она... – В горле застрял ком. Я с трудом выговорил: – Я...

– Я понимаю, – бригадир снова кивнул. В коридоре грузчики выносили последние следы того, что у меня когда-то была жизнь. – Необязательно быть алкоголиком, чтобы прийти к нам. Нужно просто... – он помедлил, – перестать себе врать.

Я замер. Открыл рот, как раньше Гуля-красотка. И снова закрыл.

Бригадир посмотрел так, словно знал меня лучше меня самого, кивнул «счастливо» и вышел. Грузчики закончили.

Я понял, правда. Хотя и не понимал. Что мне там делать? Маленький прямоугольник белел на столе...

«Здравствуйте, меня зовут Александр. И я – дерево».

Прекрасная мысль. Я засмеялся. И замолчал, испугавшись, – звук был сухой и надтреснутый, точно сломалась высохшая ветка. В старом дремучем лесу, где живут одни ведьмы.

– Идите вы все, знаете куда?! – сказал я громко.

Хлопнула дверь.

Я снова остался один. То есть... теперь точно совершенно один.

По нашей жизни бродят монстры. Вы не замечали? Стадами. Огромные, жуткие, со светящимися в темноте красными глазами.

Теперь я передвигаюсь по квартире со скрипом. Буквально. Случившееся со мной кого угодно отучит говорить метафорами.

«Не дорос ты до нее», «расти большой», «расти над собой», «отрасти себе глаза на затылке» (надеюсь, это так и останется метафорой), «что ты как деревянный», «не будь Пинокио» (это я сам придумал), «хватит быть растением!», «легкий как пух» (не обо мне), «горький как полынь», «дать дуба», «смотреть в корень», «деревянный, дубовый» в смысле бесчувственный, «нежны ветви ног» (спасибо Максимилиану Волошину).

Как задолбали эти поэты.

Еще мне нравится: «лаять не на то дерево». То есть активно стремиться к ложной цели.

«Лес рубят – щепки летят».

И «наломать дров». Это уж точно обо мне.

Сегодня важный день. Сегодня я понял, как снять проклятие.

Нет, я не шучу.

Для начала я расскажу вам сказку и две притчи.

К черту притчи! Расскажу только сказку:

Жил-был в деревне неплохой, в общем-то, парень. Но однажды ведьма с железными зубами наложила на него проклятие. Парень превратился... в осла. В серого такого, с мягкими

ушками. Парень не растерялся, отправился в лес, подстерег ведьму у пряничного домика... и забил ее на хрен своими копытами! Проклятие исчезло. Конец сказки.

Теперь понимаете?

Я взял телефон, тот почти разрядился. Ничего, на один звонок хватит. Набрал номер.

Она ответила почти сразу. Я сказал:

– Здравствуйте, Элеонора Андреевна. Это Саша. Вы можете говорить?

Она до пенсии работала детской медсестрой. Обходила новорожденных по всему участку. В жару, в холод, в дождь и снег, с больными ногами. Многие знали ее по имени – Элечка Андреевна, говорили дети. Они ее любили, кажется. Хотя, думаю... и опасались немного.

Я бы на их месте точно опасался.

Она не бросила трубку – хотя я был к этому готов. Она сказала: слушаю. Что ты хочешь мне сказать?

Я сказал: представьте, я сегодня прилетел в Томск. Через десять минут буду у Веры. Представляете?

Голос ее дрогнул: что ты... что ты хочешь, Саша?

Она поняла. Мы, монстры, всегда можем поговорить на одном языке.

Я сказал:

– Догадайтесь.

Я сказал:

– Вы можете это снять?

Я даже сказал:

– Пожалуйста.

Пауза. Я слышал в трубке ее дыхание. На короткое мгновение я даже поверил, что все будет хорошо...

Зря.

– Я не понимаю, о чем ты говоришь, Саша.

Жизнь макает нас в дерьмо круглосуточно. И у нее нет перерывов на обед.

Теперь я в этом убедился.

Она не оставила мне выбора. Ведьма – не оставила.

Тогда я сделал глубокий вдох. А затем подробно описал, что сделаю с ее дочерью, с ее ненаглядной Верой, как это будет, на сколько кусков я ее порежу, сколько раз оттрахаю ее останки, и каким будет мой оглушительный подарок на ее, тещи, будущее шестидесятилетие. Я рассказал, как буду протыкать плоть ее дочери своими корявыми, острыми как сучки, сухими руками-ветками. Целовать Веру покрытыми корой и наростами губами. А вы знаете, что у меня с языком? Вы не поверите! Это будет нечто... удивительное.

Я говорил, и говорил, и сам себе верил. Потому что на тот момент это и была *правда*.

Красное сухое опьянение подступило к горлу. Все плыло в звенящей, гулкой розовой дымке. Нет, я не испытывал сомнений в тот момент.

Я всего лишь сделал то же, что она сделала со мной – только месяцем раньше...

Выпустил своего монстра прогуляться.

Думаю, она побелела. Там, за тысячи километров от меня, в аккуратной квартирке, в окружении десятков бисерных деревьев.

Я слышал в трубке ее ужас. Ее прерывистое, с присвистом дыхание. Кажется, я даже слышал, как разорвалось ее сердце.

Такой тихий звук, словно что-то лопнуло. Пуфф.

Целлофановый пакет с водой, например.

Слышал, как через щель под давлением выплеснулась кровь, заполняя изнутри сердечную сумку, грудную клетку... черным пятном, похожим на корни дерева.

А может, это было просто мое воображение.



Дальше в трубке раздался звук, словно что-то упало.

Я убрал телефон от уха, нажал отбой. С трудом оторвал пальцы, тоненькие побеги лопа-лись – они успели обвить весь телефон. Огляделся.

Вокруг была пустота.

В горле высохло намертво. Я сглотнул. Неужели это сделал я? Неужели именно я – я! – наговорил все эти чудовищные вещи милой пожилой женщине, бабушке моих детей?

А потом понял – да, именно я.

Потому что на самом деле мы такие. Где-то там, в самой глубине души. Красноглазые монстры в сухом дремучем лесу. Мы верим, что в самой глубине леса, в темной и глухой чащобе, живет ведьма, с зубами, как медвежий капкан. Которая и виновата во всех наших бедах. Которая и превратила нас в одиноких чудовищ, которых не хочет никто...

Хотя на самом деле нам нравится быть монстрами.

Будем честны.

«Здравствуйте, меня зовут Александр Лианозов. И я – монстр».

Через пару дней позвонила Вера. Это было так неожиданно, что я долго не решался отве-тить. Словно воришка, которого застали на месте преступления.

Словно она сейчас выкрикнет в трубку: я знаю, это ты! Сдохни, болотная тварь из Черной Лагуны! Сдохни!

Словно Вера на самом деле знала, кто довел ее мать до инфаркта.

А потом подумал: может, что-то случилось с детьми?

Я схватил телефон. От переживаний ростки на кончиках пальцев почернели.

– Привет, это я, можешь говорить?

– Привет, – сказал я холодно. Но голос дрогнул. – Что с мелкими?

– Все в порядке. Нет-нет, правда. Я не вовремя?

Значит, с детьми все хорошо... мне стало легче.

И я вдруг сказал, что чертовски рад ее слышать. Глупо, правда?

И самое странное, несмотря на адские мучения застигнутого на месте преступления, я действительно был рад слышать ее голос. Ее уютные интонации, ее глубокие бархатные обер-тоны. На мгновение я даже почувствовал себя – дома.

Как тот тряпичный ослик, забытый в аэропорту. Это привело меня в чувство. Дурацкое сравнение.

Мелкая верила, что ослик вернулся, но я-то знаю, что это был точно такой же, но *другой* ослик.

Вера сообщила, что мама в больнице. Представляешь? Был инфаркт. Но теперь ее жизнь вне опасности. Да, врачи так говорят... Веру к маме не пускают, это реанимационное отде-ление... да, еще не скоро...

Значит, она жива, думал я.

А Вера вдруг сказала, что ей стыдно.

– Стыдно? – я совершенно утратил нить разговора. Метафора поплыла передо мной крас-ной нитью. Шерстяной, слегка разлохматившейся. – Почему?

– Помнишь, маме стало плохо с сердцем, и ты поехал со скорой? Потом еще вещи отвозил в больницу... Помнишь, мы потом ее навещали? Так было... тревожно, но хорошо. И мне теперь стыдно. Потому что мы тут, вместе... а ты там совсем один.

Надежда никогда не исчезает до конца. Я вдруг поверил, что у нас может быть все хорошо. Что, когда исчезнет ведьма с железными зубами, проклятие спадет с меня... и я к ним приеду. Заберу их обратно в Москву. Вернусь на работу в институт. Напишу, наконец, докторскую. Перестану пить даже по выходным и праздникам.

Старшая пойдет в школу, младшая – в детский сад.

Вера устроится на работу. Или бог с ней, с работой... пусть занимается, чем хочет.

И мы родим мальчика. Чтобы в нашем девчачьем хозяйстве появился еще один мужик – кроме меня и фикуса...

И тут я понял, что в трубке уже достаточно долгое время молчат.

– Вера? Вера, слышишь меня?

Тишина. И вдруг – рыдания. Словно у того, кто плачет, разрывается сердце. Метафора... а может, и буквально. Я замер.

– Вера! Что случилось, Вера?!

– Мама... мамы... больше нет. Я... я... потом перезвоню.

Гудки.

Я отнял трубку от уха и посмотрел на свои руки. Ну же! Ведьма мертва, проклятие должно исчезнуть...

Побеги словно поникли, и вдруг – мое предплечье на глазах медленно покрылось древесной корой. Побеги из пальцев обвилились вокруг телефона, зеленые листочки... Может, проклятие еще не сообразило, в чем дело? Какое глупое проклятие.

Твоя хозяйка мертва, ты, тупая магическая хрень!

Телефон молчал. Вся моя рука от плеча до локтя зазеленела...

И тут я понял. Не будет никакого потоп. Надежда, что мама выздоровеет, и была той красной нитью, что подтолкнула Веру позвонить мне. Еще бы несколько дней... может, мы начали бы нормально общаться? А там, глядишь...

Теперь, когда ведьмы нет, все кончено.

Я стоял, покрываясь зелеными побегами с ног до головы, и смеялся.

Хриплым деревянным смехом.

Ха-ха. Парень из сказки ошибся.

Тот, настоящий ослик, никогда не вернется домой, к своей маленькой хозяйке. Он остался на синем пластиковом сиденье зала ожидания аэропорта. Навсегда.

Это снова я. Теперь – внимание – в радиэфире!

Если быть точным, на диктофоне. Потому что мне уже сложно печатать. А говорить я могу, пока не высохнет горло и связки не скрутятся в древесный узел.

В общем-то, недолго осталось.

Я нашел сине-оранжевую визитку. Перевернул. С трудом набрал номер, написанный крупным ровным почерком.

Когда ответили, я представился и объяснил, чего хочу. Нет, не анонимные алкоголики. Заказ на доставку. Как обычно, молча и деликатно. Сможешь взять пару дней в счет отпуска?

Да, дверь будет открыта.

И да – меня дома не будет. Я серьезно.

И еще... Одна просьба. Я знаю, что это необычно и сентиментально, и вообще это гребаный, блин, романтизм... но ты можешь это сделать? Лично?

«Кто может быть большим романтиком, чем завязавший алкоголик?»

Долгая пауза. Долгая-долгая-долгая... Он ответил: хорошо. «Кажется, я об этом пожалею, но я согласен».

Я сказал: деньги будут на столе.

Я сказал: поаккуратнее с фикусом. Он мой единственный друг.

Я сказал: спасибо.

Когда я положил трубку, вокруг меня наступила тишина. Я слышал порывы ветра, далекие гудки машин, проезжающих по автостраде, неразборчивые голоса на детской площадке под окном... я слышал многое.

Но я больше не слышал ни воя обиженного самолюбия, ни грохочущего гула совести, ни монотонного, гипнотизирующего шепота вины.

Это было чудесно. Во мне все расцвело... да, это метафора. Но не совсем. Я поднял руку и увидел на пальцах молодые побеги. Крошечные зеленые листики, завязки бутонов... и вдруг один на глазах распустился. Маленький красный цветок. Алый цветок в беспросветной ночи тоски и одиночества. Он был прекрасен. Я почувствовал, что плачу. Кажется, я говорил, что стал жутко сентиментальным? Это правда.

Но сейчас я плакал по-настоящему. А не потому, что я – корыто слез, в котором эмоции переливаются через край...

Он должен сделать это.

Он обещал.

Возможно, это моя последняя запись. Извините, если мой голос покажется вам чересчур скрипучим...

Да, это буквально.

Теперь я хожу по квартире, задевая мебель отросшими ветвями; брожу, стуча корнями по ламинату, грохочу по кухонной плитке, цепляюсь раскидистой головой за дверные проемы.

Я прохожу на кухню, проталкивая свое развесистое, неуклюжее тело через узкий коридор. Продираюсь, засыпая все вокруг кусками коры и обломанными сучьями. Оказываюсь там. Кухня покрыта слоем желтых листьев.

Фигус качается, макушка его достает до потолка. Тесно тебе, парень. Ничего, скоро будет лучше.

Рядом с горшком для фикуса – еще один, побольше. Коричневый пластик, хит сезона. Горшок привезли несколько дней назад, когда я еще более-менее был похож на человека. Еще доставили три мешка земли (глинисто-дерновая, листовая перегной и торф), мешок речного песка для смеси, прозрачные питательные гранулы. И маленькие пакеты с удобрениями. «Идеал», осенняя смесь с пониженным содержанием азота. Это подкормка.

«Здравствуйте, меня зовут Александр. И я – дерево».

Я поливаю фикус. Привет, брат! Развожу удобрения водой и даю ему попробовать. Фигус балдеет, алкоголик чертов.

Тщательно готовлю большой горшок. Это специальная модель для путешествий, квадратная, с ручками для переноски.

Высыпаю на дно прозрачные гранулы. Они дадут корням необходимую влагу. Делаю смесь из разных видов земли с песком. Засыпаю в горшок. Поливаю водой, пока почва не становится влажной. Затем добавляю немного удобрений – осторожно, иначе можно сжечь корни.

Выравниваю и делаю в центре углубление. Готово.

Все это длится довольно долго. Суставы плохо гнутся, ветви цепляются. Мою работу сопровождает жуткий скрип.

Закончив, я стою и смотрю в окно. Прощание. Пожалуй, стоило бы присесть на дорожку... но тогда я рискую не встать. Ладно, обойдемся.

Я вздыхаю, говорю: «Ну, с богом» и включаю музыку. Возможно, это последнее человеческое удовольствие, что мне доступно. Телевизор для меня уже слишком быстрый, сплошное мелькание огней.

*Там, где клен шумит, – поет радио. – Над речной волной... Говорили мы... о любви-и-и с тобой...*

Потом я забираюсь в горшок. В свой горшок.

Через две недели приедет знакомый бригадир. С сине-оранжевыми грузчиками. У них в этот раз непростая задача. Они должны упаковать фикус и еще одно дерево – и вынести их

из квартиры. Я вспоминаю, как продирался через коридор, и хмыкаю. Думаю, они справятся. Аккуратно подвяжут ветви, затянут в корсет, как елку под Новый год...

Грузчики для развода. Им и не такое приходилось упаковывать.

Они осторожно, чтобы не повредить, вынесут два дерева на улицу, погрузят в «газель». Затем захлопнут дверь.

Деревья доставят на ж/д-вокзал, грузовой терминал. И начнется долгий путь через всю страну...

Некий бригадир грузчиков возьмет два дня за свой счет и прилетит в Томск (деньги на поездку я оставил на столе). Через пару часов из офиса с сине-оранжевой вывеской выедет «газель».

Еще через полчаса она будет на месте.

Я попросил бригадира выбрать место получше. С хорошим обзором. И чтобы фикус и другое... дерево были видны из окон, где живет Вера с моими девочками.

Это глупо и сентиментально, сказал я бригадиру. И вообще это гребанный, блин, романтизм.

Послать бывшей жене и детям подарок, о котором они даже не узнают.

Но пусть это останется нашей тайной.

Я написал Вере, что уезжаю в Бразилию. Надолго. Может, навсегда. До суда постараюсь вернуться. Когда я не вернусь через четыре месяца, суд примет решение в ее пользу. Мне назначат алименты. И будут искать.

Вера, наверное, скажет, что я козел. Сбежал в свою Бразилию. И зажигаю там с мулатками...

Заранее прощаю ей эти обидные слова.

Они сделают это днем. Люди в сине-рыжих комбинезонах выроют ямы, высадят два дерева – фикус... и еще одно.

Меня. За две недели, что остались до прихода грузчиков, я уже ничем не буду напоминать человека...

Разве что совсем чуть-чуть.

Надеюсь, мы с фикусом выживем. Укоренимся на новом месте. Будет трудно, я знаю. Осень и холод. Сибирь, что вы хотите. Зато я каждый день смогу видеть, как Вера отводит старшую в школу и гуляет с младшей.

И даже если какой-нибудь школьник вырежет на моем стволе «Паша любит Машу», я не буду против. Только скрипну корявыми ветвями. И, возможно, у школьника пробежит мороз по коже, словно он оказался в древнем фильме ужасов.

Однажды через много лет, когда старшая вырастет и уедет в Питер на учебу, младшая приведет нового парня знакомиться с Верой. Я увижу их входящими в подъезд. Он будет смущен или нагл. Высокий или низкого роста. Умный или веселый (может, все вместе). Брюнет или блондин. Возможно, он будет в плюшевом пиджаке университетского ботаника или в кожаной байкерской куртке...

Это неважно.

Я буду внимательно наблюдать за ним. Очень внимательно. И я буду ждать.

Однажды в сумерках он придет, чтобы выпарапать на моей коре – «младшая + придурок = любовь»... И тогда я загляну в его глаза. И все станет ясно. Я не шучу. Это совершенно серьезно. Никаких метафор.

Если я увижу в его глазах знакомые красные точки – я сомкну объятия.

И не отпущу.

Потому что даже самый отвратительный монстр вправе рассчитывать, что его дети будут счастливы.

## Юлия Лихачева Шишига

– Тятенька, родименький, не губи!..

Плакать и причитать уже не было сил, с губ срывался лишь еле слышный шелест. Руки, крепко-накрепко стянутые вожжами, совсем заковенели на стылом осеннем ветру. Голубые, как прозрачное сентябрьское небо, глаза девушки испуганно смотрели вперед, на сгорбленную отцовскую спину. Телега тряслась и подпрыгивала на ухабистой лесной дороге.

– Тятенька, родненький, пожалей... – тихий всхлип снова сорвался с губ, и ветер унес его прочь.

Пожелтевший лес застыл в угрюмом молчании. Утих, помрачнел в ожидании зимы. Осень выдалась ранней. Торопливо вытолкала лето взащей и принялась хозяйничать, устанавливая свои порядки. Наскоро выдула тепло, остудила воду в реках, сменила убранство в лесу. Но напрасно она рядила его в золото, украшала багрянцем спелых ягод. Лес чувствовал неизменное приближение смертельного зимнего холода, а потому скорбно ронял на землю яркий наряд, зная, что уготован ему вскоре белый саван. Лишь ели да сосны оцетинились зелеными иголками и стойко ждали первого снега.

Скрип колес едущей по лесу телеги да перестук копыт чалой лошаденки далеко разносились в прозрачном сентябрьском воздухе. Не надеясь более разжалобить мужчину слезами и мольбами, девушка закрыла глаза и начала беззвучно читать молитву. Только крупные слезы срывались с опущенных ресниц и капали на покрасневшие от холода руки. Она никак не могла понять, почему отец рано утром, едва затеплилась на востоке заря, вывел ее из дому, связал и повез в лес. За все это время он не обмолвился с ней ни словечком. Сердце тоскливо ныло в предчувствии страшной беды.

Телега, дернувшись, остановилась, мужчина грузно слез и приблизился к застывшей от страха дочери.

– Слезай, Настасья, приехали, – тяжело вздохнув, произнес он и слегка коснулся ледяных рук девушки.

Настасья не шелохнулась даже, только глаза на зареванном лице испуганно уставились на глухую чащобу вокруг.

– Слезай, говорят тебе!

Точно очнувшись, девушка шарахнулась в сторону, как от кнута. Отец настойчиво стащил ее с телеги и повел за собой в лес. Палая листва тихо зашуршала под ногами, зашептала что-то предостерегающее. Проворная белка рыжим огоньком взметнулась вверх по стволу, исчезла в кроне вяза.

Остановились у куста калины, увешанного тяжелыми гроздьями ягод. Нахмурившись, отец подтолкнул девушку к нему, и та, обессилев, упала на колени. На нее снова накатила ужас, проступил новыми слезами на глазах. Губы задрожали, точно она силилась что-то сказать, но не могла.

– Прости, дочка, не поминай лихом.

Мужчина тяжело вздохнул, встретился взглядом с глазами дочери и тут же отвернулся. Сорвал вдруг с головы плохонькую шапку и со стоном спрятал в ней лицо. Постоял так некоторое время, пошатываясь, как дурной, а затем резко развернулся и торопливо пошел прочь, оставив девицу под калиновым кустом.

Солнечный луч разрезал тучи, воровато скользнул вниз, пробежался по кронам деревьев, шмыгнул на двор, будто решил пересчитать гуляющих по нему птиц. Но в последний момент

вдруг передумал и вскочил на окно, задернутое плотными портьерами, нашел в них шелку и пробрался внутрь. Заплясал в изголовье кровати, осторожно коснулся лица спящего. Человек сморщился и отвернулся, разметав руки по широкой постели. Одеяло рядом с ним шевельнулось, сползло немного, открыв лохматую голову и плечо, обтянутое грубой льняной материей рубахи. Почувствовав осторожную возню рядом, спящий мужчина недовольно нахмурился и проворчал:

– Пшла прочь!

Из-под одеяла живенько выскочила худая угловатая девица, соскочила на устланный ковром пол и споро начала собирать раскиданное повсюду тряпье, торопясь убраться в сенцы. Барин с похмелья бывал дюже зол. Сенная девка Стешка хорошо помнила ощутимые пинки в бок, на которые бывал щедр хозяин в минуты дурного настроения. Вот как снова пообреет, так ее кликнет, а там, глядишь, опять целковым одарит.

Едва за Стешкой притворилась дверь, мужчина откинул одеяло и сел в кровати, тяжело сопя и мрачно шаря вокруг красными глазами.

– Ерема! – взревел он вдруг, спуская ноги с кровати.

В дверях, как по волшебству, тут же возник невысокий сутулый человечек.

– Чего изволите, барин? – изогнулся угодливо, ожидая распоряжений.

– Завтрак собирай! – распорядился мужчина. – Да еще скажи, чтобы лошадей седлали и борзых готовили к охоте. И за Гаврилой пошли!

– Сей же час, барин, сей же час! – мужичок раскланялся и бесшумно исчез за дверью.

В избе было жарко натоплено, и едва Гаврила распахнул дверь, его обдало живым теплом. У печи хлопотала Акси́нья, его жена. Заслышав скрип, она тут же разогнула спину, сощурилась на мужа и ловко схватила ухват.

– Ты... – змеей зашипела жена. – Ирод проклятый! Сказывай, где Настасья! Куды увез?

– Уймись, дура! – устало ответил тот, потянувшись рукой за плеткой, висящей на стене у дверного косяка. – Не твоего бабьего ума дело!

Акси́нья вдруг отступила на шаг, прочитав что-то в глазах мужа, но ухвата не выпустила. Уголки ее губ скорбно изогнулись, из груди вырвался долгий мучительный стон:

– Леший бы тебя задрал... Ой... горе-то какое... горе... Ой, и за что нам такое наказание?..

– Мамка, не реви! – из дальнего угла избы выскочили двое ребятишек – девочка лет семи и мальчик двумя годами младше. Прижались к причитающей женщине, медленно оседающей на лавку.

Гаврила повесил плетку назад, видя, что учить жену уму-разуму не придется, скинул с себя зипун.

– Будет тебе голосить! – попытался урезонить ревущую бабу. – Будет уже, Акси́нья. Слезами горю не поможешь.

Говорил он негромко, но каждое его слово будто камнем падало на голову жены, заставляя ее съеживаться и постепенно затихать. Тишина воцарилась в избе, слышно лишь было, как дрова потрескивают в печи да похлебка шипит в чугунке. Акси́нья до крови закусила губы, чтобы унять рыдания. Окинула взглядом как-то разом опустевшую избу. Где-то сейчас ее кровиночка? Какую участь уготовили небеса ее старшей дочери? Сердце заныло от страшных предчувствий. Хмурое лицо мужа лишь подтверждает то, о чем плачет душа: не свидеться Акси́нье больше с Настенькой, не обнять, не прижать к сердцу.

Гаврила хмурился, теребил рыжую бороду, косился на потемневшую икону в красном углу. Тяжкий грех он взял сегодня на душу, не простит его Господь. Обратился к силам древним, темным, чтобы уберечь свою семью от неминуемой беды. Стонет лес от барских забав, гневается на людскую алчность лесной хозяин – Леший. Да разве барину есть до того



дело? Не понимает он, окаянный, что лес не подчиняется желаниям и приказам человека. Там свои силы, непостижимые, переменчивые. Захотят – щедро одарят, захотят – и капли малой не дадут. Ни единожды пытался Гаврила объяснить это барину, да только на смех поднят был. А как известно, что барину веселье, то мужику слезами да черным горем оборачивается.

До прошлого года на барской охоте расвирипевший кабан насмерть клыками заporол старшего Гаврилиного сына да борзую барскую помял изрядно. Невелика плата с барина за его забавы, огромен спрос с лесника оказался. И на этот раз не пощадит Леший его семью. Лето выдалось засушливое, зверья в лесных угодьях мало. А волки уж с конца лета возле Гаврилиной избы рыщут. То ли дело зимой будет. Если Леший не смируется, не перезимовать Гавриле с семьей. И то счастье, что все лето барин ездил по свету, в имение свое ни разу не заглядывал, а вот по осени принес его черт на забавы. По охоте соскучился. Сколько раз Гаврила в сердцах желал, чтобы барина медведь задрал или кабан клыками заporол насмерть, да только вот пока бережет того лукавый.

От тяжелых дум его отвлек громкий стук в дверь.

– Гаврила! – послышалось с улицы. – Собирайся! Барин к себе требует!

И потекли дни за днями, чередуясь с ночами одна темнее другой. Остыло солнце, потускнело зимой, и лес укутало погребальными одеждами. Но не подвел лесной хозяин, отблагодарил Гаврилу за щедрое подношение, за человеческую дочь, в жены сосватанную. Всякая охота удавалась на славу, доволен был барин, не лютовал понапрасну. Волки тоже, подчиняясь воле лесового, отступили от человеческого жилья. И все бы ничего, да только стыло сердце Гаврилы каждый раз, как он переступал порог родного дома. Точно лихо поселилось в нем. Смотрело глазами Аксиныи ему в душу, укоряло, тянуло жилы, да так, что у жаркой печи становилось ему холодно. И в лесу не было ему, грешному, покоя. За каждым сугробом, за любым стволом дерева виделась Настя.

Каждый раз, как лес оглашал звук охотничьего рожка, Аксиныя вздрагивала и заламывала руки. Крепче прижимала к себе оставшихся детей и с мольбой всматривалась в лик Богородицы. Сохрани и помилуй нас, грешных! А ночами, вглядываясь в кромешную тьму, вслушиваясь в завывания вьюги за стенами дома, шептала Аксиныя одними губами, обращаясь к барину: «Хоть бы лютый зверь задрал тебя, злыдня окаянного!» Так и кончилась долгая зима.

Весна пришла рано, пришлось заплатить за барские утех.

Ветер пробрался в щель под дверью, жалобно застонал. Эхом ему ответила одна из борзых в пристройке. Заскулила, завозилась беспокойно на сенной подстилке, разбудила товарку. Теперь уже обе собаки тоненько завывали в унисон, точно испугались чего-то. Гаврила приподнялся на своем жестком ложе, вслушался в глухую ночь. Всхрапнули лошади, нервно заходили на месте. Зверя ли какого учуяли, чего похуже ли?

Он встал, накинуд на плечи тулуп, потянулся впотьмах к старому ружью. Кто-то тихонько стукнул в дверь. Лесник шагнул к выходу, потянулся было к дверной ручке. И замер.

– Тятенька... родной... пусти... – послышался шепот из-за двери. – Холодно мне... Обогреться бы...

Гаврила сухо сглотнул, отступил на шаг.

– Уходи прочь! – прошептал он и испуганно перекрестил дверь.

В ответ на улице жалобно застонало, заплакало. Завывали рядом борзые, надрывно, как по покойнику. Гаврила грузно опустился на лавку, обхватил руками свою рано поседевшую голову и забормотал молитвы, не шибко надеясь на их силу. Что-то упорно ходило вокруг сторожки, постукивало в оконце, шарило по стенам, отчаянно ища вход, да не имея возможности войти без человеческого дозволения. Собаки испуганно притихли, лишь изредка взвизгивали от переполняющего их страха, да нервно всхрапывали лошади, чуя опасность. Всю ночь Гав-

рила так и не сомкнул глаз, урезонивая расходившуюся нечистую силу святым словом. Только к утру, едва зарделось на востоке, все утихло.

Напрасно ждала Аксинья мужа с охоты. Не пришел ни после предыдущей ночи, ни после нынешней. Видать, не натешился еще барин, не все зверье в лесу извел. Они и раньше не по одному дню пропадали, да в доме Петруша с Настей помогали, все веселее и легче было. И воды натааскают, и дров нарубят, и с младшими займутся. А теперь лишь на Аксинье в доме держится. По весне хлопот прибавилось, а мужа как ветром сдувает на несколько дней. Уго-раздило ее лесниковой женой стать.

Целыми днями хлопотала Аксинья, лишь иногда останавливаясь и с тоской глядя на оживающий лес. Вспоминала сгинувшую дочь, а потом снова спешила по своим бабьим делам. И только вечерами, сев за прялку или кросны, украдкой смахивала набежавшую слезу, думая о том, что не доткала и не допряла Настенька. А как она работала справно! Легко, точно играючи, управлялась с веретеном. И нить-то у нее выходила тонкая да ровная. Ей, Аксинье, такую уже и не спрясть. Пальцы не те, что в молодости были. Болят к вечеру годами натруженные руки, пальцы сводит от долгой работы. «Хоть бы еще разок увидеть кровиночку! Прижать бы к себе и не отпускать больше!» – думала Аксинья, перебирая кудель.

Мирное посапывание уснувших детей вдруг перекрыло сердитое шипение и ворчание косматого кота, недавно дремавшего на голбчике. Аксинья вздрогнула, оборвала нечаянно нить. Кот уже не спал, сидел, нахохлившись и сердито сверкая глазами при тусклом обманчивом свете лучины. Женщина тихо охнула, предчувствуя неладное. Огонек лучины затрепетал в ответ и сорвался со своего насеста, потух. Что-то несильно стукнулось в окно. Аксинья торопливо перекрестилась, боязливо припала к окну, вглядываясь в ночь. То ли неясная тень колыхнется во дворе, то ли ей мерещится это со страху?

Из-за туч выплыла полная луна, посеребрила лес, растущий рядом с избой, и двор. Вычертила ладную девичью фигуру. Аксинья вскрикнула, узнав Настеньку.

– Маменька... родненькая... пусти...

Лицо бледное как снег, с распущенных волос вода капает.

– Холодно мне... пусти обогреться...

Кусая губы, Аксинья заметалась по избе, на ощупь ища душегрейку. Выскочила на крыльцо, метнулась к дочери, зарыдала беззвучно, кутая ее в одежду. Ладонями наткнулась на сильно округлившийся живот Насти, застыла, вся дрожа. Ужас смешался в душе с материнской любовью. Сердце захлебнулось от страха, затрепетало в груди, а руки лишь крепче стиснули девушку в объятиях.

– Доченька! – зашептала Аксинья, заливаясь слезами. – Настенька моя... Ты ступай-ко на гумно, миленькая! Там тепло да сухо. И не сыщет никто...

Лес никак не отпускал Гаврилу. Хватал растопыренными ветвями за зипун, норовил сорвать с головы шапку. Заманивал в трясины, окружал чащобой. Лесник подумывал уже скинуть всю одежду и надеть наизнанку, чтобы отвязаться от Лешего, взявшегося морочить и водить кругами, но лесной хозяин, точно сжалившись вдруг над человеком, вывел его к родному дому.

В избе отчего-то было нетоплено, лишь чадила лампадка в красном углу, совсем закоптив лик Богородицы. У холодной печи возилась сгорбленная женская фигура, ворочала остывшие угли. Гаврила размашисто перекрестился на икону, и будто в ответ на его действие женщина у печи резко разогнулась, издав протяжный скрип, словно спина у нее была деревянной. Мужчина попятился назад, узнав в полутьме сгинувшую в лесу дочь, бледную, с непокрытой лохматой головой. Споткнулся о порог, стал неуклюже заваливаться назад и... проснулся, вырвался из ночного морока.

Ночная тишина раскинула свой полог, опустила и без того низкий потолок избы. Сердце в ответ на ночной кошмар билось в груди пойманной птицей. Уж которую ночь с той поры, как он не впустил в сторожку Настю, она ему во сне является, и всякий раз сердце стуком заходится. Мается ее неуспокоенная душа, хочет вернуться по весне, да не может. Снова скрипнуло что-то, уже не во сне, наяву. Гаврила приподнялся с полатей, прислушался. Различил осторожные шорохи и шаги: кто-то шастал во дворе среди ночи. Не зверь – человек. Мужчина встал, впотьмах пересек комнату, в сенцах сдернул с гвоздя зипун, сунул ноги в валенки и вышел, прихватив с собой ружье на всякий случай.

Двор был пуст. Над ним раскинулось небо с узким круторогим месяцем, плывущим среди звезд. Их тусклый свет не мог рассеять ночную тьму, только сгущал ее еще больше. Ночной ветер дышал теплом вошедшей в самую силу весны, тревожил пока еще голые ветви деревьев в лесу, шуршал мертвой травой у плетня. Гаврила прислушался и пошел в сторону сарая, откуда, как ему казалось, раздавалось бормотание и осторожная возня. С силой дернул на себя покосившуюся дверь. Изнутри на него дохнуло живым теплом. Тусклый свет лучины после густого мрака на миг ослепил, заставил прищуриться. Гаврила шагнул внутрь. Навстречу ему метнулась Аксиныя в душегрейке, накинутой поверх исподнего, с непокрытой головой. Глаза ее дико сверкали, как у кошки, оберегающей котят.

– Уходи! – выдохнула она мужу в лицо. – Не смей, Гаврила!

Женщина уперлась руками в мужнину грудь, оттесняя обратно на двор, но Гаврила решительно отстранил ее. Глаза окончательно привыкли к свету, и теперь он различил в мельтешении теней неясный силуэт человека, лежащего на большой куче сена в углу сарая.

– А ну, сказывай, Аксиныя, кого тут прячешь? – мужчина шагнул вперед.

– Не пуцу! – жена подскочила сзади, разъяренной кошкой повисла на его плечах.

Гаврила и сам вдруг остановился, узнав человека, лежащего в сене среди грязного окровавленного тряпья.

– Господи Иисусе... – пробормотал он и перекрестился.

Раскинув бледные худые ноги, задрав окровавленный изорванный подол грязной рубахи, на куче сена лежала Настасья, остекленевшими глазами глядя в потолок. Рядом в соломе копошилось и попискивало что-то маленькое, синюшное, явно издыхая. Мужчина покачулся и, как пьяный, едва переставляя ноги, вышел из сарая.

Тишина и покой ушли из леса с началом первых летних дней. На лесных опушках и полянах поспела земляника – первое лесное угощение, за которым потянулись в лес стайки деревенской ребятни с кузовками. А потом подоспеет ей на смену малина с черникой и голубикой, следом зардеется на кустах брусника. Запахнет в лесу грибами. К исходу лета подарит свой богатый урожай лещина, и на болотах заалеет клюква. Да так и останется все это лесное богатство нетронутым. Быстро стихнут голоса, аукающиеся в лесу, иссякнет живая человеческая река, спешащая в лес за дарами природы. И пойдут гулять от деревни к деревне вести одна страшней другой. О сгинувших безвозвратно в лесах и тех, кого нашли растерзанными. А кому выпала удача унести ноги целыми и невредимыми, будут после рассказывать, как выло и плакало в чаще леса неведомое существо. Как гналось за ними по болотам, ухая и повизгивая. Зашепчутся по избам перепуганные люди о шишиге, что от лютого голода терзает в лесах людишек почище волка. Самое нутро разрывает, чтобы добраться до диковинного лакомства – человеческой бессмертной души. Хочет нечисть окаянная, души не имеющая, отобрать человеку принадлежащую искру Божию, да не может ухватить, вот и лютует.

С каждым днем Гаврила становился все мрачнее и неразговорчивее. Иной раз за весь день ни слова не говорил. Вставал с утра хмурый, завтракал и уходил порой куда-то на весь день. А приходил домой лишь под вечер еще угрюмее. Почувяв неладное, Аксиныя сновала по дому мышью, боясь растревожить гнев мужа неосторожным словом или неловким действием.

Даже дети, любившие отца, умолкали в его присутствии и забивались на лавку в дальний угол избы.

Неделя за неделей деревенские не давали леснику покоя, наперебой пересказывая ужасы про лесное чудище, ополчившееся на окрестные деревни. Одни просили, чтобы помог, защитил. Иные же сыпали проклятиями и плевали вслед, полагая, что Леший ополчился на весь людской род за нескончаемые барские набеги на лес. Знамо дело, сколько зверья лесного барин с гостями извел! Как еще лес-то не опустел, не вымер! От этих разговоров вскипал в душе Гаврилы гнев. Бурлил, клекотал, заставляя сводить к переносице брови, играть желваками и до хруста стискивать кулаки. Вскипал и оседал потом мутным тяжелым осадком на дно до поры до времени.

Вот и сегодня, едва завидев лесника, навстречу кинулась Марфа, она голосила, как кликуша, рубаху на себе рвала:

– Ой, Гаврила Степаныч! Что же ты не сделаешь-то ничего? Шишига окаянная рвет нас, как овец, детей сиротит, а ты вона – ходишь по деревне, и дела тебе нет до бед людских! Одна я теперь с дитями-то осталась! А нету моего Прохора больше! Задрала его шишига-то! Как барана какого задрала! А тебе что за беда? Ходишь вон да на слезы людские поглядываешь!.. Как тебя земля-то носит еще?!.. А вот погоди! Погоди, Гаврила Степаныч, придет и твой черед! И в твою избу горюшко черное пожалует...

Много чего этой дурной бабе Гаврила ответить хотел, и про горюшко, и про слезы, да только кулаки посильнее стиснул и дальше пошел. Думал, побурлит в душе, как всегда, и утихнет. Ан нет! В душе кипело так, что горячая похлебка казалась холодной и пресной. В сердцах он швырнул ложку в опустевшую миску и набылчился. Акси́нья угодливо метнулась к столу, чтобы убрать. Чует баба, что виновата, ох чует! Не дав ей опомниться, Гаврила резким движением сгреб в охапку ее волосы, покрытые платком. Женщина охнула и осела.

– Обмануть меня задумала, зараза! А оно вон как складывается теперь! Говори, Акси́нья! Правду говори, а то насмерть запорю!

Акси́нья вцепилась руками в столешницу так, что костяшки побелели. Запрокинутое кверху лицо исказила гримаса боли и злобы.

– А и запри! – подначила она мужа. – Осироти детей-то, дурень старый! А все одно – ничего не сделаешь! Это Господне тебе наказание за грех тяжелый, за Настю! Знать, не сгнуло дитятко-то, подросло в лесу-то! Ты согрешил – дитя свое сгубил в лесу, а я вот не смогла грех на душу принять. Соврала тебе – не утопила в болотине детыньку. Там оставила. Живенького. На судьбу положила да на лес. Оно и верно – там дом его родной. Леший ему тятенька, шишимры – тетки родные. Все обласкают да накормят сиротинушку. Матушка вот только родами померла, так оно, поди, и тоскует по ней, горемычное.

Из глаз ее брызнули слезы, побежали по щекам. Акси́нья вдруг обмякла, медленно опускаясь на пол. Гаврила выпустил тугой узел волос на женином затылке, и она грузно рухнула да так и застыла на земляном полу горестным изваянием. Дети настороженно выглядывали из-за печки, не решаясь подойти и пожалеть рыдающую мать.

– Экая же ты дура, Акси́нья, – пробурчал Гаврила. – Волос долгий, а ум короткий.

Он сплюнул на пол, встал из-за стола и медленно побрел к выходу. На пороге оглянулся на жену, снова сплюнул и вышел, хлопнув дверью.

Никита Алексеевич поморщился, когда его сон растревожили резкие неприятные звуки со двора. В правом виске в такт воплям и причитаниям пульсировала какая-то болезненная жилка. Барин недовольно вздохнул, откинул одеяло и, приподнявшись на локте, прислушался. Не сумев разобрать, в чем суть причитаний и воплей, крикнул:

– Ерема!

Однако на зов никто не явился. Никита Алексеевич сердито сдвинул брови, встал с кровати и, закутавшись в халат, вышел из спальни.

На крыльце он столкнулся с Еремой, бледным и перепуганным. Сгреб его за грудки и, тряхнув, потребовал:

– А ну, пес, говори, отчего такой шум? Что стряслось? Почему бабы орут на дворе, точно их режут?

– Беда, барин! – заскулил Ерема, подгибая колени, готовый пасть на землю, едва его отпустят. – Зверь-то лесной к самому порогу, почитай, подобрался. Стешку-то средь бела дня задрал, окаянный!

Барин отшвырнул Ерему прочь, спустился с крыльца, грубо растолкал сгрудившуюся вокруг чего-то челядь. Взору открылось жуткое зрелище, и он поспешил отвернуться, не в силах признать в окровавленной груди тряпья и истерзанной человеческой плоти ту, что недавно радовала его своим гибким юным телом. Никита Алексеевич поднялся на крыльцо, остановился на верхней ступени, сверкая глазами и яростно раздувая ноздри.

– Ерема! – взревел он, пугая своим криком и без того перепуганный дворовый люд. – Скажи, пусть готовят охотничий флигель! Чтoб за два дня готов был! И за Гаврилой пошли! Да поживей давай!

Гавриле не спалось. Мысли путались в голове, бередили душу, поднимали со дна тревожную муть, которая застревала в горле, мешала дышать. Он вспоминал оставленных дома детей и Аксиныю. Ее взгляд, полный боли и безысходности, когда он собирался уходить. Жена не причитала, не кляла его последними словами, просто сидела на лавке, опустив плечи, будто помертвев. Говорить ей мужчина ничего не стал, кликнул дочку и наказал перед уходом:

– Лушка! Дом на тебя оставляю. За старшую будешь. Приглядывай за матерью и братом. Даст Бог, скоро обернусь, а нет – так не поминайте лихом.

Он проглядел в ночь все глаза, но сон не шел. Не хотел укутывать его забытием на несколько часов до рассвета, не желал дать ему покоя перед охотой, исход которой был Гавриле неведом. Рядом на соломенных тюфяках похрапывали псары, за тонкой стеной клетки сонно фыркали лошади да во сне потягивали борзые. Лесник поднялся с тюфяка, вышел на двор – глотнуть свежего ночного воздуха. В прорехи облаков то и дело выглядывал круглый глаз луны, играл со спящей землей в переглядки. Серебрил тусклым мертвым светом охотничий флигель и лес, встающий стеной позади него. Из лесной чащи донесся слабый плач. Кто-то охал и тоненько хныкал во тьме, то ли оплакивал кого-то, то ли жаловался на свою горькую долю. Гаврила замер, не имея возможности определить в темноте, далеко ли плачущий, видит ли его. Стенания будто лились тоненькой струйкой, тянули за душу. И вот им уже начали вторить растревоженные борзые.

– Ма...ма... ма... – подвывало из леса.

Гаврила осторожно шагнул назад, к укрытию, понимая, что не укроет, не спасет оно при худшем раскладе. И даже если всех на ноги поднять – толку никакого не будет. Бессилен человек против лукавого, особенно если на стороне того лес и ночь.

Утро капризно куксилось, готовое разреветься, как девка в день свадьбы. Гаврила, разглядывая грязные клочья облаков, обнадежился мыслью, что барин отменит охоту, не захочет себе и гостям кости мочить. Но нет! С вечера во флигель съехались заядлые охотники: купец Демьянов со старшим сыном и поручик Воронов, человек жестокий и вспыльчивый. Господа поднялись на удивление рано и тут же приказали выводить лошадей и собак.

– А что, Никита Алексеевич, правду ли людишки толкуют, что завелся в здешних лесах невиданный зверь, который нутро вместе с душой выедает? – поинтересовался поручик, седлая лошадь.

– Если и так, то конец тому зверю пришел! – ответил Никита Алексеевич. – Затравим собаками. Не уйдет от нас! Так, Гаврила?

Лесник поднял голову, встретился с серыми холодными глазами барина. Тот улыбался, но взгляд был жестким, прозрачным, как тонкий осенний лед в лужах. Гаврила не выдержал, отвел взгляд. Подумал об оставленных в избе детях и жене. Спаси и сохрани их, Господи!

Спустя час пришлось спешиться. Земля пошла круто с горки, спускаясь к небольшому лесному озерцу с неподвижной темной водой. Берега его уже сильно затянуло илом, устлало хвоей и пышным мхом, сквозь который проросли курчавые кусты багульника и молодые сосны.

– Ну вот, барин, Чертово болото, – Гаврила указал вперед. – Там шишига живет.

Затрубил рог, дав псарям команду окружать болото для травли. Безмятежная лесная тишина взметнулась ввысь стаяй потревоженных ворон. Окрестности огласились криками людей, науськивающих собак:

– Ату его, Играй! Ату, Найда! Ату его!

Собаки шустрыми теньями метались в зарослях папоротника и багульника, выискивая дичь. Что-то невидимое, некрупное шмыгнуло в кустах, затрещали ветки, взвизгнула вдруг борзая. Голоса остальных собак тоже изменились, в их лае больше не слышался тот задор, тот охотничий азарт, с каким животные гонят дичь, только растерянность и страх.

– Нашли! Нашли зверя! – торжествующе сказал Никита Алексеевич и, скинув с плеча ружье, решительно зашагал вниз по склону.

Остальные охотники потянулись следом, лишь Гаврила какое-то время нерешительно топтался на месте. Его густые брови сошлись к переносице, сосредоточенный взгляд пристально обшаривал заросли багульника и корявые стволы сосен. Снова взвизгнула собака, за ней другая, следом раздался испуганный вопль кого-то из псарей. Взметнулся к облачному небу, перешел в хрип и оборвался. Затрещал багульник, заросли всколыхнулись, потревоженные кем-то крупным. Завыло, заверещало истошно на болоте. Охотники вскинули ружья, ожидая появления дичи. Первым не выдержал купец Демьянов – выстрелил в заросли. Пуля среза ствол молодой ивы.

– Ах ты ж, черт побери! – в сердцах воскликнул поручик. – Поторопились вы, однако!

В ответ среди кустарника что-то завозилось, захихикало ехидно и зло, следом раздался душераздирающий человеческий вопль. Оттуда грузным кульком выпал один из псарей, хрипя и заливаясь кровью, хлещущей из разодранного горла.

Демьянов перекрестился и испуганно попятился. Неловко задел локтем сына, и тот, вскрикнув, бросился бежать в сторону молодого ельника. Купец бросился следом, крича:

– Сто-ой! В трясину угодишь!

Ехидный хохот разом смолк, лес окутала настороженная тишина. Вновь зашуршало в багульнике: кто-то скрытый зеленью пробирался по болоту к охотникам.

– Не стрелять никому! – зло прошипел Никита Алексеевич. – Я сам пристрелю эту тварь!

Стебли багульника разошлись в стороны, из них выступила Найда, прыгая только на трех лапах. Вместо четвертой болталась окровавленная культя. У барина заходили желваки от злости. Лучшая его борзая! Он опустил ружье, порывисто развернулся, ища взглядом Гаврилу. Тот стоял в стороне, мял руками снятую с головы шапку.

– Гаврила! Поди сюда!

Тот подчинился, еле переставляя ноги, будто обессилел разом. Никита Алексеевич сгреб его за грудки.

– Говори, Гаврила, где логово этой твари! Оплошаешь – горе тебе!

Лесник кивнул в сторону косматой головой и произнес:

– Там, среди болота, есть островок небольшой. Вот на нем и прячется шишига. Только идти туда опасно. Трясина кругом.

– Веди, Гаврила! Ты ж ведь знаешь путь!

– Как скажешь, барин, – вздохнул лесник.

– Позвольте! – подал голос поручик. – Я в трясину не полезу.

– Ну так и оставайтесь тут! – бросил ему через плечо Никита Алексеевич и подтолкнул Гаврилу вперед.

К острову пробирались долго, прощупывая путь длинными жердями, наскоро изготовленными из молодых елей. В какой-то момент над лесом прокатился долгий крик, полный боли и ужаса. Гаврила даже не остановился, упрямо продолжил идти, утопая ногами по колено в воде. Следом за ним шел барин, чавкая сапогами в болотной жиже. Они успели порядком выбиться из сил, когда под ногами вновь почувствовалась земная твердь, покрытая мягким упругим мхом. Впереди высилась зеленая стена раkitника, да в стороне лежал огромный серый камень, сверху плоский, словно обеденный стол или лесной алтарь в языческом капище.

– Так что, Гаврила? Куда дальше? – спросил Никита Алексеевич, оглядываясь по сторонам.

Лесник замер на месте, низко опустив голову, хмуро разглядывая что-то у себя под ногами.

– Что молчишь, Гаврила? – внезапно рассвирепел барин, почуяв неладное. – Говори, где логово, собака! Иначе пристрелю!

Гаврила медленно поднял голову и уставился на небо. Серые тучи кружили по нему стаей хищных птиц, на мгновение лишь разошлись, открыв небесную синь. Точно Настенька с небес глянула. Да только не бывать этому. Заказана ей, грешной, туда дорога вовек. В зарослях раkitника треснула ветка, и лесник вздрогнул от этого осторожного звука, как от удара плетью. Покачнулся и внезапно рухнул на колени.

– А и пристрели, барин! – произнес он тихо. – Все одно – погибать! Обратный ход через трясину только я и знаю... Нет зверя лютее человека. Любую тварь приласкать, приголубить можно, окромя человека. У любого зверя сердце есть, да только не у тебя, барин...

– Ты что несешь, пес шелудивый?!

– Прости меня, Господи, грешного! – прошептал Гаврила и торопливо перекрестился.

Что-то маленькое, юркое выскочило из-за камня, сбило с барской головы шапку, сердито заскрежетало, впиваясь длинными когтями в плоть. Никита Алексеевич закричал, завертелся волчком на месте, пытаясь сбросить звереныша с себя. Кровь брызнула во все стороны, оседая на мох красными ягодами клюквы, орошая щеки Гаврилы кровавыми слезами, повисая в его бороде алыми бусинами. Лесник не отводил глаз от мечущегося в агонии человека, оседланного жуткой и невероятно прыткой тварью. Взгляд выхватывал то длинные тонкие лапы-руки, то бледные кривые ноги, рвущие человеческую грудь в клочья, то узкую спину, увенчанную зеленоватым гребнем. Тварь яростно верещала, вонзая в свою жертву когти и зубы, рвала плоть и заглатывала кусками, неистово вгрызалась снова и снова, даже когда человек упал и затих. Гаврила не шевелился, окаменел, сжимая в руке ружье. Лишь насытившись, шишига оторвалась от еще теплой плоти, подняла узкую окровавленную морду, повела широкими ноздрями и оскалилась, показывая длинные тонкие зубы. Зашипела, почуяв чужака, но не имея возможности увидеть неподвижную человеческую фигуру. Лесник смотрел в ее большие глаза, блестящие на окровавленной морде. Голубые как вешнее небо. Настенькины.

– Ма...ма... ма... – жалостно затянула вдруг тварь, как ножом по сердцу полоснула.

Гаврила поспешно вздернул ружье, боясь дать слабину и передумать. Шишига уловила его движение, насторожилась, припала к земле, готовясь к новой атаке.

– Прости меня, Настенька! – прошептал лесник.

Тварь прыгнула. Грянул выстрел, эхом разнесся по болоту. Трясина откликнулась, потревоженно загудела в ответ. В разрыве туч снова проглянуло холодное солнце, ласково вдруг улыбнулось, глядя с недостижимой высоты на густой лес, распростершийся во все стороны

без конца и края, и на маленького ничтожного человечка, покаянно застывшего среди яркой зелени, переходящей в светлое осеннее золото.



## Максим Кабир

### Поющие в глубинах

Итак, девятого сентября тысяча девятьсот восьмого года я был переведен в больницу Святого Николая Чудотворца для буйнопомешанных преступников, располагающуюся на территории Петропавловской крепости.

Воображаю разговор, состоявшийся между моим прежним врачом, господином Келлером, этим жизнерадостным и упитанным немецким мозгоправом из Обуховской больницы, и тюремным доктором Витовским:

- Вы уже осведомлены, какого знаменитого пациента вам доставили?
- Позвольте угадать! Петра Первого? Иоанна Грозного или Наполеона? Кого-нибудь из библейских персонажей?
- Александра Леконцева.
- Больной мнит себя известным путешественником? Весьма изящно.
- Нет же! Это и есть Александр Фаддеевич Леконцев собственной персоной. Видно, что криминальную хронику вы пролистываете...

Вход в отделение сразу за камерами политических заключенных. Длинный арестантский коридор, по бокам которого – кабинеты главврача и персонала. Рукомоийник с бронзовыми кранами налево, прямо – комната свиданий и лестница в «тихое» отделение. Направо – полутемный тамбур с тремя массивными дверями. Когда меня привели, бритого, в халате на голое тело, служитель смывал с пола кровавые разводы.

Из тамбура можно попасть в ванную, столовую и сырое помещение, прозванное Бойней. Огромный зал поделен на тесные камеры, подобно конюшне. Здесь, во тьме, едва процеженной светом коридорных ламп, мне суждено закончить свое путешествие.

Стены палаты обшиты колючими досками-шалавками, оконца покрыты решетками и частой железной сеткой, стекла закрашены желтым. В потолке над моей койкой зарешеченная дыра, там чердачная мгла и пыль, но долгими ночами я представляю восхитительное и безжалостное африканское небо и засыпаю с его солью на устах, с его тяжелыми звездами, набившимися под веки.

Вчера доктор Витовский вручил мне свечу, бумагу и карандаш. Я пишу под бабуиний крик Горохова из смежной камеры. Горохов – бывший дьячок, терзаемый бесами всех мастей. Другой мой сосед, Сыромятников, плачет во сне. Его за революционную пропаганду и сопротивление при аресте четыре года морили в одиночном карцере, и парень сошел с ума.

Пытаюсь мысленно пробить стены, сбегать по карандашному грифелю в последнее свое африканское турне и – спасибо Господу Богу за дарованную фантазию – вижу, как наяву, плавные волны холмов, густой кустарник и купы бамбука, вижу ревущий водопад с женским именем Виктория, и строящийся мост над ним, и струящийся дым под ним, и себя в белой шляпе и элегантном походном костюме.

Отгремела Англо-бурская война. Как, должно быть, смешны наши войны древним пескам Зулуленда. В Питермарицбурге я обмозговывал свой дальнейший маршрут, фотографировал туземок и попивал вино с приятелями из «Эфрикан ревью». В основном попивал вино. Там и застала меня телеграмма из района алмазных разработок Кимберли: месье Карно предлагал совершить вместе с ним увлекательное путешествие на Юго-Восток континента. Я, не колеблясь, сел в поезд до Хоуптауна и вскоре наслаждался красотами Замбези и компанией дорогого сердцу товарища.

С Люсьеном Карно я познакомился три года назад в Каесе, столице Французского Судана. Авантюрист и охотник, он жил за счет продажи слоновьих бивней. Любил женщин, выпить и

вкусно поесть, что никак не отражалось на его стройной подтянутой фигуре. Карно не убивал слоних и детенышей, чем завоевал мое уважение.

– О русский друг! – восклицал охотник. – Эту прогулку вы не забудете.

Истинная правда, незабываемый маршрут от уютной, затененной пальмами резиденции Люсьена в застенки Петропавловской крепости...

Северной Родезией формально правит король, на деле же страна подчиняется губернатору колонии Трансвааль. То тут, то там встречались отряды королевской полиции, гордые мужчины в хаки и без обуви. Патруль задержал нас у устья мутной реки Кабомпо. Пока проверяли документы и охотничью лицензию Люсьена, я сфотографировал стайку детей, свежавших клинками тушу зебры. Зебру, вероятно, задрал лев, а детвора разбирала остатки львиного пиршества.

Жаль, что большинство снимков сгубили походные условия проявки.

Ах да, отрекомендую вам всю группу. Помимо нас с Карно, в глубь страны пошли двое носильщиков, чьи имена были слишком сложны, и я про себя называл их Степкой и Мишкой; и Катанги, наш переводчик из племени бафуту. Катанги также выполнял обязанности почетного оруженосца – таскал двуствольный штуцер Люсьена, впечатляющее ружье шестисотого калибра. Кроме того, с нами были три лошади и два пони, везущие телегу-фургончик.

Мы двигались на юг, дальше от рек и исхоженных дорог.

Стояла изматывающая жара, засуха, раздолье для многочисленных заклинателей дождя. Ни единого облачка на небе. Как странно вспоминать об этом в осеннем Петербурге, в сырости моих казематов. Земля растрескалась. На валуны взгромоздились ящерицы, сонно глядящие нам вслед, и тени наши ползли, цепляясь за колючки.

Саванна вымерла. Запустение царило над поселками из десятка хижин. Во дворах хозяйничали пятнистые гиены. Люсьен объяснил, что здешние племена бросают деревни, похоронив предводителя. Замурованное в жилище тело вождя приманивает падальщиков.

Необъятные баобабы с привязанными к стволам рогами антилоп. Я фотографировал, изумленный, рогатые деревья, своеобразные надгробия туземцев. У корней спали вечным сном охотники.

Катанги, бойкого молодого человека, новообращенного христианина, укусила за щеку муха цеце. Я продезинфицировал ранку, но Катанги на всякий случай прикладывал к щеке крестик. В саванне не бывает лишних предосторожностей.

Отваживая скуку, мы с Карно рассказывали забавные байки о путешествиях и о доме. Переводчик недоверчиво охал, слушая про снег, но истово клялся в подлинности самых нелепых сказок о людях-леопардах и обезьянах-людоедах.

Ежедневно около семи мы разбивали лагерь. Две палатки для сна, третья – фотолаборатория. Я промывал пленку в бачках, обрабатывал водой и проявителем, готовил растворитель. В него, под пискливым руководством лазутчика-москита, погружал завернутую в апрон пленку. После кислого фиксажа резал ножницами, сызнава мыл простой водой и водой с раствором перманганата натрия, и на поверхности выступала марганцовка. Финальная промывка и просушка в спирте.

К моменту, когда я, счастливый, если хоть одна фотография удавалась, выходил из лаборатории, носильщики волокли в лагерь подстреленного буйвола. За ними, преисполненный чувством собственного достоинства, шагал Карно.

Костер и запахи, которые я не вдохну впредь. Купол неба. Звезды. Кажется, они разговаривали с нами. Или то был голос африканской ночи.

А днем – пустынный вельд, клубы пыли. Редкие погонщики истощавшего скота.

Страна воинственных масхукулумбве. Здесь я увидел картину, пронизанную таким драматизмом, что несколько часов не мог прийти в себя. По высохшему руслу реки ковыляло

четверо калек. Гуськом, держа друг друга за лохмотья. Те, у кого не было кистей или пальцев, клали культи на плечи впередиидущим. Веки слепцов спаяны гноем и мушиными яйцами...

– Прокаженные, – коротко сказал Люсьен.

За стенками палатки жужжание кровожадных насекомых и крики бывшего дьячка Горохова.

Утром нас свистом и пинками сгоняют в столовую. Помещение сажени четыре в длину. У прохода скамья, на ней восседают надзиратели.

Старший бряцает ключами. У него глазки ящерицы, круглые и дурные, плоская физиономия боксера и пудовые кулаки.

– Это Карп, – говорит революционер Сыромятников, – жалования у него восемь рублей в месяц. Он мне ребра сломал.

Сыромятникову бы играть в театре святого, но у него нервный тик и мечты об убийстве Царя-батюшки.

Мы сидим на жестких ящиках по обе стороны стола-гусеницы. Восемь лакированных ножек привинчены к полу. Ящики тоже закреплены. По углам навалены соломенники в пятнах экскрементов. Есть комната за столовой – «темная». Туда надзиратели отводят провинившихся и долго, с гадливым удовольствием и с расстановкой, избивают.

Нынче провинился доходяга, обделавший ящик.

– Повезло тебе, путешественник, – морщится надзиратель-ящерица Карп, – что вони не чуешь.

Я предпочитаю согласиться.

– Бейте его, братцы, – подбадривает дьячок Горохов, – именем Сатаны, туфельками бейте!

Ловит мой взгляд:

– Эй, уродец! Давай Люциферово войско восхвалять!

Сквозняк дует из окон и отдушин, режет босые пятки, припадочные извиваются, кликуши кричат, дьячок поет, на шестой день мы ночевали у английского миссионера.

Жена его накормила нас говяжьим супом и сытными лепешками. Приггла нарыв на щеке Катанги. Люсьен побрился, а я решил отращивать бороду. С новыми силами и запасом воды, с наставлениями доброго пастыря мы двинулись к реке Кафуэ.

Деревья вздымали к небу ветви в немой мольбе, солнце испепеляло равнину. В желтом мареве подрагивал город-призрак, покинутая французами фактория. Под копытами зашуршали камушки. Молчаливой процессией торжественно проехали мы по главной улице. С суеврным страхом косились Степка и Мишка на заколоченные ставни, на тоскливо дребезжащую жестяную вывеску над лавкой. Да и я, что греха таить, затревожился. С такой алчностью пережевывала саванна кусочек цивилизации, так целеустремленно подтачивал песок ступени административного здания, и темнота кишела между разошедшимися досками.

Лишь Карно равнодушно покачивался в седле. А потом, подтрунивая, поведал нам о форте в Германской Восточной Африке, где якобы жены колонистов промышляли колдовством и якшались с Нечистым.

– Ведьм вычислить легко, – вставил переводчик, – они на руках скачут, и глаза у них под коленями, красные, а рты пылают, словно там раскаленные угли.

– Ну-ну, – усмехнулся Карно.

На Кириллов день наша многонациональная группа достигла плато, за которым простирался буш. Низкорослые деревья переплелись лианами. Непривычной свежестью привлекали мясистые стебли эувфорбии. На горизонте высились горы в зеленом всплеске джунглей.

– Настоящая охота, – потер ладони Люсьен.

Носильщики же вконец приуныли, и француз пояснил причину. Территория за холмами находилась вне юрисдикции европейских стран и пользовалась плохой репутацией. В джунглях

укрывались от закона преступники обеих рас. Но южнее, куда мы намеревались податься, не рисковали шастать даже они.

Я уверил негров, что от негодяев вроде португальских работорговцев мы их защитим. Но и добытая Карно антилопа личи не повлияла на выбор носильщиков. Ночью наши Степка с Мишкой дезертировали, прихватив лошадку. Учитывая, что один из пони хворал, покусанный цеце, потеря была существенной.

Заботил меня и Катанги, чья щека вздулась и нарывала. Не помогали ни спирт, ни его распятие.

Вторые сутки мы шли по влажному сумеречному лесу, протоптанной слонами тропой. Лианы спутались над головами. Шорохи из каучуковых и банановых зарослей заставляли ежиться. Люсьен держал оружие начеку, сторожась древесной гадюки и черной мамбы.

За лесом просматривалась река, какой-то приток Кафуэ. Бурые заболоченные берега. Тростник и слоновья трава. Громадные термитники.

Пони пришлось застрелить. Чахлого Катанги мы уложили в фургон. Беднягу лихорадило, он галлюцинировал.

– Там деревня, – сказал охотник, отмахиваясь от moskitov.

Я кивнул. Над кронами тамариндовой рощи стелился дымок. Он окуривал подножье высокой скалы, зеленобокой с севера и каменисто-серой с юга.

– Лекари туземцев творят чудеса, – сказал я.

Посоветовавшись, мы оставили лошадей и фургон у воды и пошли по берегу. Катанги стонал, припадая к загривку пони.

Утром старший надзиратель явился на Бойню с перебинтованной кистью и синюшной скулой. Злой как черт.

– Есть Бог на небе, – радуется земский врач, придушивший супругу-изменщицу.

– Нет! – рывкает Сыромятников.

– Чего нет? – интересуется Карп, подслушавший разговор.

– Бога нет, – шепчет трясущийся революционер.

За богохульство Карп избивает его в «темной».

– Ах, нет! – приговаривает он, – ах, нет!

Наступает и моя очередь. При обыске камеры Карп находит записи. Набрасывается, разъяренный, предплечьем пострадавшей руки прижимает к стене. В здоровой руке подкова, и он машет ею, как кастетом, у меня перед глазами:

– Кто ящерица, а, урод? Кто, отвечай?

От неминуемой расправы спасает доктор Витовский.

Уводит в кабинет. Обещает, что Карп меня не тронет.

– Вам нужны еще бумага или свечи?

Я тшусь что-то втолковать ему, но от волнения несую окопесу.

– Спросите у моей хозяйки! Дом на Двинской улице! После того как я вернулся из Африки, она постоянно жаловалась на шум! Шум по ночам из моей квартиры! Что она слышала? Спросите, что она слышала!

Карп смотрит с ненавистью, хлопает по карману, где подкова. Бегемоты на речной отмели. Думать про бегемотов.

– Привет, – сказал Люсьен по-французски. Не пасущимся бегемотам, конечно, а мальчишке, примостившемуся на дереве.

Туземец не сбежал, а весело ткнул пальцем в штуцер Люсьена и затем в бегемотов.

– Гагах! – произнес он гортанно.

Карно улыбнулся, прицелился из ружья и застрелил двух зверей. Ошалевшее стадо загромыhalo к воде.

– Сочное мясо, – сказал охотник. – Тебе и твоему племени.

Мальчишка спрыгнул с ветки и посеял в подлесок. Мы последовали за ним. Роща поредела, сменилась полем маниоки. У подножья скалы, огражденная частоколом, раскинулась просторная деревня. Калитку отворили рослые, великолепно сложенные мужчины, похожие на зулусов. Они были экипированы копьями и луками, а у одного висел за спиной допотопный шомпольный мушкет. Переговорив с мальчиком, они пригласили нас войти и отправили команду за тушами бегемотов.

Мы очутились среди островерхих хижин и приземистых сараев. Соломенные и пальмовые крыши были украшены глиняными горшками и калебасами. Возле жилищ сушились листья табака и звериные шкуры.

Местные высыпали к нам из своих лачуг. Они вызвали у меня мгновенную симпатию. Полуголые, статные, с гладкой, не испорченной татуировками кожей. Мужчины наигранно хмурились, а женщины пихали друг друга и хихикали. Любопытные дети сновали у ног.

Мы с Люсьеном перемигнулись.

К нам вышла грациозная девушка в переднике из пальмовых волокон. Молодую грудь едва прикрывало увесистое ожерелье. Искусственный жемчуг и стекло. Тонкие запястья звенели медными браслетами.

Она заговорила на языке коренного народа Родезии, которым, к нашей удаче, хорошо владел Люсьен.

Девушка представилась Аррой, дочерью старейшины. Ее племя, потомки ва'лунда, спрятались в джунглях от кочевников. Они торговали с родезийцами, и Арра выучила язык баротсе.

– Нам готовят королевский прием, – сказал Люсьен.

Мужчины унесли бессознательного Катанги в крааль. Засуетились женщины. Пока Люсьен болтал с Аррой, изредка трогая ее за плечико, я прогулялся по деревне. Полюбовался работой пожилого резчика: ловко орудуя кривым ножом, он за сорок минут создал из цельного деревянного комля скульптуру льва.

Девочки тринадцати-четырнадцати лет возились у загона для коз. Я удрученно отметил, что половина из них была беременна.

Час спустя нам сообщили трагичную новость: Катанги скончался.

Помрачневшие, мы спросили Арру, где можно закопать переводчика, но она затараторила так быстро, что Люсьен не сразу понял ее.

– Вождь сказал, что Катанги с честью похоронят на горе, в городе мертвых.

– В городе? – уточнил я.

– Видимо, некое тайное святилище. Ритуал совершат утром, но нам запрещено на нем присутствовать. Путь к городу заказан всем, кроме избранных членов племени.

– Но Катанги исповедовал христианство, – засомневался я.

– Мне бы не хотелось обижать этих милых ребят отказом, – заметил Карно, и я согласился с ним.

Празднование началось на закате. Нас усадили в плетеные кресла подле вождя, щуплого старца, жующего табачок. Туземцы, от мала до велика, заняли циновки. Вокруг прямоугольной площадки зажгли костры. Под постепенно нарастающий барабанный бой нам подносили яства из жирного мяса и маниоки, блюда с рисом и несоленой рыбой, кувшины просяного пива. Напитки пробовал вождь и, убедившись, что они не отравлены, угощал гостей.

К барабанам присоединился ксилофон, площадка заполнилась танцующими силуэтами.

Вождь вещал что-то про Катанги, указывая на горный пик, и я отрешенно поддакивал. Ритм барабанов пульсировал в мышцах, пиво разливалось по организму, мысли тяжело воровались.

На площадке одержимо выплясывал шаман в безликой маске, его руки тоже тянулись к горе. Танцоры изгибались черными телами, кожа блестела маслом. Толпа вопила, жен-

щины похотливо стонали. Чавкал табачной жвачкой вождь. Падали звезды. Тени метались по деревне, черная и багровая.

Я посмотрел на Люсьена. Охотник ухмылялся, наслаждаясь дикой пляской, пиво текло по его подбородку. За спиной, ненавязчиво массируя ему шею, стояла Арра.

Чьи-то пальцы коснулись меня. Я увидел миниатюрную девицу, как две капли воды похожую на Арру, но еще моложе. Она поманила меня к глинобитной хижине. Улыбнулась хищно. Передник соскользнул по стройным девичьим бедрам.

Я пошел, как в тумане, и, помню, подумал, что разорву ее собой, но она довольно заурчала.

Рано утром меня растормошил Карно. Смущенный, я выкарабкался из-под обнаженной девицы и оделся. Голова, вопреки ночным возлияниям, не болела вовсе.

Деревня спала. Карно поджидал у курятника. Бодрый и вооруженный, с сумками у ног.

– Ну и погуляли мы вчера, – пробормотал я, краснея.

– Предлагаю погулять и сегодня. Затемно трое мужчин унесли Катанги на гору. Поторопившись, мы станем первыми европейцами, навестившими их святилище.

В больничной каморке, под хныканье революционера и неумолчные проклятия дьячка, я вижу нас на горной тропинке, вижу порхающих бабочек, чистое небо, заросли саговника, в которых мы укрылись от идущей навстречу троицы. Туземцы густо напудрены маниоковой мукой, рубища усеяны когтями и косточками. Они исполнили долг и шли в деревню налегке. И мы крадемся дальше, к вершине, к святилищу.

Не кладбище и не руины храма, иллюстрация к Хаггарду или Киплингу. Нам предстал замаскированный лианами колодец. Вертикальный туннель прогрыз толщу горы. Добрых семь аршин в диаметре, выдолбленный камнетесами стародавних времен. От его краев, от бездонной черноты его нутра веяло непостижимой древностью.

Люсьен чиркнул кремнем, и мы различили ступеньки, винтом устремляющиеся во мрак. Опасная лестница без перил в локоть шириной, плоть от плоти осклизлых стенок.

– Рискнем? – спросил Люсьен. Глаза его горели азартом.

– Да, – ответил я, чувствуя трепет первооткрывателя.

Ах, почему не умчались мы в ужасе прочь от того туннеля!

Люсьен извлек из сумки ветошь, керосин и палки, смастерил факелы. Багаж положили под ворох лиан.

Сошли в колодец: мой товарищ впереди, я за ним. Факелы бросали отсветы на стены. Пахло тиной и смертью, затопленным склепом. Подошвы предательски съезжали: кое-где ступеньки превратились в обмылки. Я хватался за скальную породу, за крысиные хвосты корешков. Спускались, казалось, вечность. Небо в каменном жерле уменьшилось до булавоочной головки.

– Дно, – прошептал Люсьен.

Я повел факелом, и пламя озарило зеленый пяточок в двух лестничных витках. Воображение мое нарисовало груды скелетов и черепов, но, прищурившись, я разглядел всего один труп на моховой подушке. Саван и кучерявую шевелюру Катанги.

Люсьен разочарованно фыркнул.

– Погоди, – нахмурился я, – но где другие трупы? Где мертвецы туземцев?

– Ну...

Люсьен не договорил. Из проема в нижней части стены медленно выползла тень, контурами напоминающая морского конька.

Я прикусил крик, сжал древко факела.

Чудовищная фигура выбралась на свет и нависла над Катанги.

Ничего гнуснее не мог выдумать и заядлый курильщик опиума.

Не человек и не животное, оно отталкивалось передними, непомерно длинными конечностями, при этом выгнувшись так, что от таза до ключиц было почти три аршина. Оно опиралось на лапы, и пальцами, человеческими пальцами скребло мох. Недоразвитые ноги волочились, перекрученные как ремни, втрое короче рук. Оранжевые всполохи танцевали на белесой, не знавшей солнечных лучей шкуре.

– Что это? – просипел я.

– Тише, иначе оно...

Нет, оно не слышало бы нас.

Ни ушей, ни глаз, ни рта у твари не было. Оно подняло лысую голову. Вместо лица – шероховатый овал в мелких дырочках. Килеобразная грудь выпятилась. Тварь запела.

Как описать ту, чуждую разуму, песню из глубин преисподней?

В ней звучал и трубный слоновий глас, и вой ветра в печной трубе, и горн, и шум морской раковины. Вихрь, гудение, подземный раскат, зов, от которого вздыбливались волосы. От которого зашевелилось укутанное в саван тело.

– Скажи, что я не свихнулся, – вымолвил Люсьен.

Но я онемел.

Катанги распрямлялся. Вставал, как Лазарь пред Господом Иисусом. Белое существо пело. Рывками марионетки, точно против своей воли, Катанги побрел к черному проему.

Я отпрянул от этого безумия, и ступня провалилась в пустоту. Я рухнул с лестницы на одеяло мха.

– Сюда! Сюда! – голосил сверху Карно.

Я подскочил, нащупал оброненный факел.

Мертвецы были повсюду. Их прогнившие, истлевшие до костей лица выплывали из темноты. Их скрюченные клешни искали меня. Их челюсти щелкали. Родители, мужья, жены, дети потомков ва'лунда. Я кружился, отбиваясь тухнущим огнем, обессиленный.

И тогда возникло оно. Белая морда в наростах и червоточинах. Скопление ороговевших бородавок, и каждая имела отверстие, и каждая сочилась слизью, и каждая пела.

Я заорал, и пересохший мой язык окропила горькая тягучая слюна существа.

А следом раздался выстрел, оглушительно громкий в замкнутом пространстве.

Девятьсотграновая свинцовая пуля, прошивающая слоновий лоб, разворотила грудную клетку существа, отшвырнула его к стене. Вспышка нитроглицеринового пороха разнесла на куски бесконечную унылую ноту. Одновременно тьма дернула за ниточки, и мертвецы исчезли в ее схронах, в трещинах подземелья.

Я ринулся, отплевываясь, на голос Люсьена, по ступенькам, к небу, к сладкому обмороку на вершине горы.

Мы не стали возвращаться в деревню за пони. Рысцей добежали до стоянки, оседлали лошадей. Через час я лежал в фургоне, царапая брезент палатки. Меня мучила лихорадка и сопутствующие кошмары. Мерещилось, что мертвецы гонятся за нами по вельду...

Изнуренного, но живого, Люсьен доставил меня в Хоуптаун. И сказал на железнодорожном вокзале вкрадчиво:

– Забудьте, Александр, постарайтесь забыть. Это наркотики в пиве чертовых дикарей. Ничего больше.

Так мы расстались навсегда, и поезд повез меня мимо строящихся мостов и торговых постов, мануфактур, католических церквей, алмазных копей, и в его протяжных гудках мне чудилась песнь безликой твари.

Но по-настоящему – я должен ускориться и перейти к важному – по-настоящему я услышал ее снова августовским вечером, прохаживаясь набережными Санкт-Петербурга. Будто нагайкой хлестнула меня невыносимая знакомая нота. Тугой звуковой канат из нитей воя, гудения, зова. Ледяной штык страха пригвоздил к мостовой.

Но ведь рядом плескались волны родной Екатерингофки, а не африканской реки. Неужели тварь настигла меня за тысячи верст от своей берлоги?

Я затаил дыхание. Адская музыка прекратилась.

Банальное недосыпание, результат бессонных ночей!

Я выдохнул облегченно, и музыка грянула с удвоенной мощью. Заморгали уличные фонари. Перекрестился дворник у притвора храма Богоявления. За чугунными подпорками Гутуевского моста клубилась тьма, и грязная пена пузырилась на воде.

Я побежал, оглядываясь, шарахаясь от прохожих. И лишь на набережной Обводного канала понял, что источником страшной музыки был я сам, что пение рождается у меня в переносице, что незримые раковины, и хоботы слонов, и горы, и печные трубы – это мои ноздри.

Я был псом, подавившимся детской свистулькой, мелодичным хрипом подзывающей смерть.

Очертя голову, я кинулся в распахнутые двери ресторана, в праздную сутолоку и счастливое неведение, я выхватил у шокированного господина столовый нож и – о, я представляю вытаращенные глаза посетителей! – принялся отрезать свой нос, от горбинки вниз, придерживая пальцами кончик. Я пилил хрящ, я втыкал острие в месиво носовых костей, я обливался кровью, но не ощущал боли.

Холодные руки опустились мне на плечи. Я повернулся. Катанги, мертвый Катанги оскалил заточенные зубы. У него были черные белки, черные десны и черный змеиный язык. Захлебываясь кровью, я полоснул ножом по его подставленной ладони, и негодующая толпа смела меня на паркет, раненный официант скулил в объятиях коллеги, верещали дамы, а я погружался в воронку милосердной тишины.

Сегодня днем я вновь запел. Пытался поздороваться с Сыромятниковым, а пение хлынуло горлом. Революционер убрался в угол и разрыдался.

– Верно, – сказал дьячок Горохов, – верно, урод, так славословят Сатану!

Я думал убить себя карандашом, но только сломал его, и карябаю эти строки грифелем. Надзиратель отвлекся. Пора дьявольской песне замолкнуть.

Я...

Прощайте!

*Дорогой доктор Келлер!*

*Как Вы и просили, посылаю Вам записи г-на Леконцева, прекрасно отражающие безумие этого бедного, заблудившегося путника. В некотором роде, он, как Вы и пророчили, покончил с собой, но использовал для этого не петлю или бритву, а нашего старшего надзирателя Карпа Федотова, человека крайней раздражительности и скверного нрава. Как свидетельствуют очевидцы, Леконцев, минуту назад склонившийся над бумагами, молниеносно налетел на Федотова и вцепился в его поврежденную накануне левую кисть. При этом Леконцев издавал шум, охарактеризованный одними как визг, другими как рев, третьими как вой. Не расходятся свидетели в том, что звук был преотвратным. Вне себя от боли и ярости, надзиратель Федотов тремя ударами утяжеленного подковой кулака размозжил Леконцеву череп. Надо признать, что насилие служащих над пациентами – давний бич нашего учреждения и вопрос, который я непременно возьму под контроль.*

*Я от всей души соболезную безумцу, но довожу до Вашего сведения следующую деталь: при вскрытии в гортани Леконцева обнаружили уплотнение, по-видимому являющееся опухолью, так что отмеренный ему Богом срок в любом случае истекал.*

*К Вашему интересу упомянутым в записях французом, г-ном Карно. Отыскать его, наверное, можно, но скажите, Генрих, нуждается ли в опровержении несусветная ересь?*



*Всякие, как Вы выражаетесь, необъяснимые события на деле оказываются не чем иным, как набором из совпадений, домыслов, преувеличений и искажений.*

*К происшествию у Петропавловского собора. Я уверен, что причины, по которым, скажем так, вспучилась земля на могилах Комендантского кладбища, заключаются в обводненных и неустойчивых грунтах.*

*Что до найденных на берегу Заячьего острова утопленников, чьи трупы, опять-таки, по словам фантазеров, «будто бы ползли к бастиянам», мало ли мертвецов отдает нам Нева?*

*На том кланяюсь и жду в гости. С официальными и неофициальными визитами.*

*Искренне Ваш, д-р Витовский.*

## Борис Левандовский

### Что-то в дожде

Мне тогда было семь лет – в октябре тысяча девятьсот восьмидесятого года. Восьмидесятый запомнился мне в основном двумя событиями: всемирной Олимпиадой, проходившей летом в Москве, и тем, что я отправился в школу. Ну и еще той историей, которую хочу вам рассказать.

Октябрь во Львове знаете какой? Почти британский, только, наверное, еще хуже. Этот город словно обладает способностью притягивать к себе всю сырость на Земле. Кое-кто утверждает, причина в том, что он расположен на дне материковой впадины, и это вызывает сей климатический эффект. Но кто хоть раз бывал во Львове в дождливый сезон, знает – причина совсем иная. В этом не так уж и трудно убедиться – достаточно вдохнуть здешний воздух, наполненный ароматом палой листвы, и поднять голову, чтобы всмотреться в небо. И ответ придет сам собой: этот город длинного ноября принадлежит Осени. Она живет в нем. Ну, наверно, вы понимаете, что я хочу сказать.

Для меня восьмидесятый был частью еще того волшебного времени, когда тебе семь лет и ты только начинаешь по-настоящему узнавать мир, в который тебя пригласили родители, но еще полон всяческих иллюзий. Смешных и наивных, как выяснится очень скоро, – большая часть этих иллюзий уже через два-три года будет утрачена навсегда. Но пока они еще достаточно сильны, чтобы верить в чудеса, ожидать их и надеяться. Надеяться и иногда действительно встречаться с ними. А может, это и означает – видеть мир таким, какой он есть, или хотя бы ту его сторону, которая предназначена для нас? Лично я верю, что это так. И еще верю, что, переставая быть детьми, мы не становимся лучше.

Год восьмидесятый, как и семь лет в моей жизни, стал отправной точкой какой-то странной, причудливой эпохи, когда мир неуловимо и быстро начал меняться, уносясь в туманное будущее еще не ведомыми истории и потому не предсказуемыми вселенскими путями, но, как и всякая нейтральная территория, принадлежал только себе. Он прощался с семидесятыми, еще незримо витавшими над землей и властвовавшими в умах, и, тоскуя по выходящим из моды клешам, призывал новые веяния; год смерти Высоцкого и взлета славы «Трех мушкетеров»; год, когда улицы звучали бобинными альбомами «Смоки» и «Отелем „Калифорния“» – этим великим и, наверное, единственным хитом «Иглз»; год мартовских заморозков в холодной войне и последнего, отчаянного крика увядающих «детей цветов», на смену которым вскоре ворвется грохочущее тяжелым металлом поколение панков и рокеров, чтобы так же уйти в свое время, уступив место прилизанным «пепси-боям» девяностых; ну и, конечно, незабвенные итальянцы, конечно же и они.

Осень... Я был бы не я, если бы не разболелся в самом начале учебного года тяжелой ангиной. Еще и полугодом не прошло с тех пор, как я лежал в больнице, и двух недель после очередной домашней пилюльной диеты. Ох и намучилась же мама со мной! По совету лечащего врача, ставшего почти членом нашей семьи, меня было решено отправить в санаторий с обучением. В то место, откуда меня едва не увел в серую пелену неизвестности Человек дождя.

Санаторий находился под Львовом всего в нескольких километрах от городской черты в местечке, называемом Брюховичи. Я уже не помню точно, кто именно привез меня на автобусе в санаторий «Спутник» в первый раз – мой старший брат Дима или мама, – но мне почему-то кажется, что это был все-таки брат. Хотя я, возможно, и ошибаюсь. Во всяком случае, Дима чаще всего приезжал навестить меня или забрать домой на выходные, а потом отвозил обратно. Видите ли, наша мама была знакома с директрисой этого лечебного учреждения – ее племянница, наша двоюродная сестра, училась вместе с дочерью директрисы, – поэтому справиться с

моим оформлением мог бы и Дима. Моя история болезни прибыла впереди меня из районной поликлиники днем раньше, как гонец, доставляющий весть о скором пополнении. Уже тогда это был настоящий фолиант.

У нас с братом десять лет разницы. Из-за своих частых болезней я никогда не ходил в детский сад, и мы много времени проводили вместе, когда Дима возвращался из школы. Он брал меня в компанию своих друзей, и я чертовски гордился, что вожусь с такими взрослыми парнями, сижу с ними на одной скамейке, слушаю их разговоры, а иногда даже вставляю свои «пять копеек». Ну и, конечно, я был в курсе многих его секретов – девчонки, и все такое. Сам брат, наверное, уже давно все позабыл, а я вот до сих пор кое-что помню: похоже, недаром тогда говорили, что у меня уши-локаторы, имея в виду вовсе не их размер. Но болтуном я не слыл, и Дима это знал лучше, чем кто-либо другой, поэтому никогда особо не стеснялся моим присутствием, как и его друзья. Ну, может, *почти* никогда.

Мы смотрели одни фильмы, поскольку он часто брал меня с собой в кино, слушали одну музыку на бобинном магнитофоне «Романтик-3» с переписанными через десятые руки благодаря великой удаче альбомами «Пинк Флойд» и «Куин», «Дип Пепл» и «Эй-си Ди-си», «Роллинг Стоунз» и «Смоки», и даже, кажется, ранними «Джудас Прист»; чем увлекался он, увлекался и я, что любил он, нравилось и мне. Честно говоря, и теперь нравится. Особенно по части музыкальных вкусов, сложившихся под его влиянием, и некоторых карточных игр.

Когда я перестал ползать и встал на свои две, то Дима, должно быть, не слишком-то обрадовался, открыв, что теперь вынужден повсюду таскать с собой младшего брата. Учитывая разницу в возрасте, его нетрудно понять. Я надолго стал его «хвостом», превратив нас в этакую неразлучную парочку: один высокий и смуглый, с пышной копной черных курчавых волос, другой – почти по пояс первому, светлый и анемичный, вечно готовый в миг свалиться с малярийной температурой, «бледнолицый брат», – это понятно, о ком. Но скоро стало ясно, что нередко только мое нытье способно обеспечить Диме пропускной билет на улицу, к друзьям – домоседство было для кого угодно, только не для моего брата. Мне достаточно было завести пластинку с главным хитом тех лет «Ну, ма-а!..», и мама через минуту капитулировала. Еще бы, кто может такое долго выдержать? Хотя наша мама, конечно, догадывалась, кто в действительности стоял за этими тошнильными «Ну, ма-а!..». Меня-то и теперь из дому палкой не выгонишь.

В этот год я получил букварь и «Рабочие прописи» (впрочем, я уже года два как умел читать и писать), а Дима, мечтая о карьере военного, окончил среднюю школу – ту самую, шестьдесят пятую, которая вскоре принялась и за меня. Однако Дима недобрал половины балла для поступления в Симферопольское училище и вернулся домой, чтобы повторить попытку следующим летом (как оказалось, удачно) и выпасть из моей жизни на многие годы. А пока он тянул лямку ученика на заводе «Автопогрузчик», куда его устроил наш дядя, родной брат отца, занимавший должность главного механика; он, кажется, там и по сей день работает.

Восьмидесятый был связан для моей семьи еще с одним, не слишком приятным событием – летом наши с Димой родители официально развелись. Отец полюбил бутылку задолго до моего рождения, и эта пьянящая дама в неизменной кокетливой шляпке, всегда готовая ее сбросить и отдаться по первому зову, с каждым годом все крепче привязывала отца к себе, крадя его любовь у нас. В восьмидесятом маминому терпению настал конец; оно просто лопнуло, как старый гнойник. К тому времени по ее настоянию отец уже около года не жил с нами под одной крышей. Я виделся с ним после развода лишь однажды, случайно; произошло это в восемьдесят третьем, очень далеко от Львова.

После того как Дима поступил в военное училище, взрослый мужчина в нашей маленькой семье появился только через пять лет, когда мама снова вышла замуж за моего отчима – настоящего сварщика, от которого я заразился дурной привычкой сквернословить по любому поводу.

Итак, мы вышли из автобуса на конечной остановке и минут десять шли пешком. В наши дни это место уже находится по внутреннюю сторону городской черты, рядом с основным действующим кладбищем, на котором в девяносто четвертом опустился в яму гроб с невесомым от долгой болезни телом моей бабушки по маме, – но тогда, в восьмидесятом, бабушка была еще хоть куда.

Мы подошли к открытым воротам и ступили на территорию «Спутника», – не уверен, но мне кажется, прямо на этом месте теперь построена Католическая академия, отделенная узкой дорожкой от вефиля Свидетелей Иеговы. Но до конца восьмидесятых каждое лето здесь действовал пионерский лагерь, о чем свидетельствовали многочисленные дорожки и площадки с белой разметкой на асфальте, аллеи с посеребрившими от времени гипсовыми скульптурами, застывшими по обеим сторонам в неестественных сюрреалистических позах (на фоне желто-оранжевых деревьев, начавших терять листву, они выглядели злое, словно только *пытались* притвориться неживыми, отчего походили на людей-манекенов из романов В. Крапивина, которыми я зачитывался, став подростком), стендами, символикой и прочей совдепо-скаутской дребеденью. Осенью же и весной «Спутник» превращался в санаторий для астматиков и всех, кому шел на пользу здешний воздух.

Мы прибыли незадолго до обеда. День выдался особенно характерным для той поры года, пасмурным и промозглым. Над землей почти неподвижно зависла дымка дождевой мряки, что соответственно отразилось на моем и без того унылом настроении. Хотя я в то время и скитался по больницам не меньше, чем коммивояжер по дешевым мотелям на, как тогда говорили, «загнивающем Западе», все же начальный этап разлуки с домом для меня всякий раз оставался неизменно трудным. Мне хотелось оказаться в своей комнате, которую мы делили с Димой, среди любимых игрушек и книг с яркими картинками... но одновременно с какой-то безысходной горечью я понимал, что это невозможно. И, вот-вот готовый пустить слезу, утешался тем, что на выходные смогу возвращаться домой, что эти три недели когда-нибудь закончатся (хотя они и казались почти вечностью, к счастью, почти) еще чем-то.

Помню только, как мы (с Димой или с мамой) вошли в небольшое двухэтажное здание, служившее сразу и приемным покоем, и канцелярией, где меня оформили, – и свою историю болезни на столе. Предмет моей неизъяснимой детской гордости – даже не столько из-за солидной толщины, сколько благодаря четырем разноцветным полоскам, наклеенным на корешок «карточки» и сообщавшим, что я состою на учете у такого-то врача. Каждый раз, приходя в поликлинику и ожидая, пока отыщется том с моим именем, я приподымался на цыпочки и ревниво следил за мельтешением корешков, расставленных на полках вращающейся тумбы: не появился ли кто «жирнее», а главное, с еще большим числом цветных «орденских» лент. И удовлетворенно переводил дух, если таковых не наблюдалось на вершине больничного Олимпа. Лишь дважды или трижды за все время я покидал это поле битвы, терпя поражение, раздавленный жутким видом корешков более заслуженных «чемпионов». По правде говоря, я не уверен, что их гордые владельцы все еще с нами.

После необходимых формальностей я попрощался – то ли с братом, то ли с мамой – и остался с медсестрой, улыбчивой женщиной средних лет, что заведовала приемным покоем. Она набросила на плечи длинный плащ и взяла меня за руку.

– Идем, Юра.

Мы вышли из здания, и она повела меня в глубь территории.

Юрой меня называли в честь Юрия Гагарина, поскольку я появился на свет двенадцатого апреля в День космонавтики. Произошло это за тридцать минут до полуночи; мама однажды призналась, что из-за общеизвестного суеверия очень старалась *выпустить* меня до наступления «тринадцатого». В принципе я не возражал, и у нас получилось.

Ведомый за руку женщиной в плаще (мы проходили маленькое неказистое здание с двускатной крышей, покрытой серым, но сейчас почти черным от дождя шифером, где распола-

галась местная импровизированная школа с единственной классной комнатой, и еще что-то – но я пока не знал этого), я скоро различил впереди три стоящих в ряд одноэтажных корпуса. Прямо за ними начинался сосновый бор, что сизо темнел в кисельно-дождевой дымке, навевая ощущение какой-то явно присутствующей, но пока не раскрытой тайны.

Левый корпус, как я узнал вскоре, принадлежал взрослым, в правом располагался лазарет и процедурные кабинеты. Мы подошли к среднему, где находилось детское отделение.

– Ну, вот и пришли, – сказала моя провожатая, открывая дверь.

Так я оказался в санатории «Спутник».

Мы подоспели как нельзя удачнее – к самому началу обеда. Провожатая передала меня из рук в руки главврачу детского отделения и пожелала мне напоследок «не болеть», за что я уж точно никак не мог поручиться.

Врачиха, серьезная дама лет под пятьдесят в бифокальных очках, которые еще больше подчеркивали ее строгий вид, отвела меня в столовую и представила, краснеющего от смущения, остальным детям. Но к моему облегчению, на меня особо не пялились, как на диковинную зверюшку, скорее даже, почти не обратили внимания. Такие церемонии здесь были не редкостью – новенькие постоянно сменяли «старожилов».

Столовая оказалась маленькой и по-домашнему уютной – я невольно сравнил ее с той огромной и шумной, в которой кормился на длинной перемене в школе. Низкие под детский рост столики на четверых, цветы в настенных горшках, приятные запахи из кухни, куда вела чуть приоткрытая дверь.

За столиками собралось около тридцати детей, мальчишки и девчонки – примерно половина на половину, – с которыми мне предстояло провести ближайшие три недели.

Врачиха распорядилась, чтобы накрыли еще на одного, и приняла у меня пакет с вещами; другой, куда мама собрала фрукты и сладости, перекочевал на полку широкого буфета, занимавшего половину стены, в компанию к другим (мне показалось, он выглядит среди них тоже как *новенький*). После чего я занял место за одним из обеденных столиков.

Время моего появления перед самым началом трапезы, может, и было в некотором смысле удачным, но я съел лишь полтарелки супа и, не притронувшись ко второму, выпил стакан яблочного компота – о каком аппетите тут речь? Мне до слез хотелось домой. Был понедельник, а до пятницы... подумать страшно.

Когда обед закончился, меня слегка попустило. От того, что все вокруг жуют и не с кем поговорить, я пребывал в постоянном напряжении.

Мне досталось место в привилегированной палате, откуда утром выписался мальчик – счастливцев, которым я себя уже видел через двадцать дней. О волшебной притягательности слова «выписка» я знал еще по больницам. К счастью, здесь в отличие от больницы хотя бы не требовалось облачаться в пижаму, из-за чего ощущение оторванности от дома становилось еще сильнее.

Эта палата считалась привилегированной, поскольку она была больше остальных и в ней размещался игровой уголок нашего отделения; днем сюда могли приходить другие дети. В корпусе была еще одна палата для мальчиков – не прошло пары дней, и я, подобно всем «нашим», начать именовать их не иначе как «фуфлыжниками», таковой уж была здешняя парадигма. И две палаты принадлежали девчонкам.

Обед закончился, но мне так и не удалось с кем-нибудь завести разговор – наступило время, условно именуемое «тихим часом», что на поверку означало *два часа*.

Я лег в свою кровать и притворился, будто уснул. Некоторые ребята постарше читали, остальные улеглись, подобно мне. Но я-то ненавидел *спать днем*.

Моя кровать стояла самой ближней к двери, от которой ее отделяла вертикальная газовая печка метра два высотой. Я повернулся лицом к печке, отгородившись от чужих взглядов, и

позволил себе беззвучно всплакнуть, думая о маме с братом, нашей с Димой комнате и любимых играх, о том, как снова вернусь в свой класс, когда *выпишусь* отсюда...

Примерно через час мне захотелось в туалет по-маленькому, но я еще даже не успел разведать, где он находится, а спросить у других ребят постеснялся. Дождался, когда из коридора донеслись чьи-то шаги, и выскочил туда в одних трусах, чем напугал пожилую санитарку. Она привела меня назад и заставила одеться, ожидая рядом, чтобы затем отвести (хотя, думаю, нужную дверь в конце прямого коридора я бы и в семь лет сумел отыскать без Натти Бампо) в то место, куда нас зовет природа. Натягивая одежду, я заметил на своей подушке мокрое пятно, и мне стало очень стыдно, ведь она тоже могла его увидеть и решить, что я плакса.

Пописав, я вернулся в свою кровать и обнаружил, что отчего-то здорово вспотел, возможно, из-за переживаний – вода из меня прямо так и лилась всеми доступными путями. Поэтому, когда мне снова захотелось немного смочить подушку, я решил, что уже достаточно, и заставил себя перекрыть глазные краны.

В конце концов, ну что здесь такого? – убеждал я себя. Вторая половина времени, отведенного для дневного сна, прошла быстрее, и я даже немного удивился, когда нас подняли.

Первым ко мне подошел парень на вид старше всех, как, впрочем, и было, рослый даже для своих лет; давно не стриженная светло-каштановая прямая челка почти скрывала его глаза.

– Как тебя зовут?

– Юра.

Он кивнул.

– Меня Игорь. Ты надолго?

– Три недели. – Наш диалог забавно напоминал детскую версию тюремной «прописки»: здешний пахан выясняет у нового заключенного, какой срок тот «мотает». А роль «статьи» должен был, вероятно, исполнить врачебный диагноз. Но об этом он меня не спросил. Зато я успел мысленно порадоваться, сознавая, что впервые могу точно сказать, когда вернусь домой, – в больнице «срок» нередко тянулся и тянулся.

– Ясно, – кивнул парень и отошел, потеряв ко мне интерес. Да и о чем, собственно, было трепаться четырнадцатилетнему подростку с семилетним первоклашкой, когда оба находятся еще за той возрастной межой, за которой даже год разницы идет едва ли не за десять.

Однако я немного приободрился, потому что теперь знал тут хоть кого-то по имени.

Ничто не способно так быстро прояснять вопрос лидерства, как маленькое общественное устройство, и я очень скоро вошел в курс здешней табели о рангах. Среди «наших», как, впрочем, и во всем отделении, безраздельно верховодили двое парней: двенадцатилетний Андрей и семиклассник Игорь, который первым снизошел до знакомства со мной. Ступень ниже по иерархии занимали несколько ребят помладше, еще ниже стояли отъявленные трусы и слабаки, ну а уж самое подножье принадлежало нам – мелюзге. К тому же среди восьмерых «наших» младше меня оказался только шестилетний Богдан, который почти все время проводил, лежа в кровати с загипсованной ногой.

Это стало первым моим опытом (если, конечно, не считать брата) жизни в коллективе, где не все одинаковы по возрасту и силе. Да-да, и силе тоже – нигде эта разница не становится столь заметна, как в маленьком мирке, где кто-то может в буквальном смысле оказаться раза в два, а то и в три больше тебя. А я был мальком, очутившимся в одном аквариуме с крупной рыбой.

Сразу по окончании «тихого часа» я имел еще одно незабываемое знакомство, когда к нам в палату начали сходить все охочие до игр. С Ноной, так ее звали. Против меня она была настоящая кобыла, и у нее была своя особенная игра. Вот только игровой уголок ее интересовал в той же степени, что лису заячий помет – в отличие от самих зайцев. Она вроде как пришла перекинуться парой слов со старшими парнями. И тут увидела меня.

– А, так это новенький, – сказала она, с интересом разглядывая меня, хотя я был представлен всем еще за обедом. Я ничего не ответил, только посмотрел на нее. Вид у меня, должно быть, по-прежнему оставался унылым, потому что Нона подсела ко мне и обняла за плечи:

– Наверное, еще не привык. Хочешь домой?

Я кивнул.

– Ничего, это скоро пройдет, – улыбнулась Нона. У нее была чертовски обворожительная улыбка, и я почти уже был готов влюбиться, как она вдруг сказала: – Открой рот.

– Зачем? – спросил я, слишком часто имевший дело с врачами, которые просили меня о том же самом, и слишком хорошо усвоивший, что ради лишнего места в комнате об этом не просят.

– Ну открой, – настаивала Нона, продолжая все так же мило мне улыбаться.

Я заметил, как Игорь смотрит на нас с другого конца палаты, и именно выражение его лица заставило меня всерьез навести уши. Он будто знал заранее, что должно произойти дальше.

Нет уж, избавьте меня от сюрпризов, не такой я простак – доктора достаточно потрудились, чтобы превратить меня в недоверчивого крысенка, орудуя теми же методами (открой ротик, детка, больно не будет... спусти штанишки, только глянуть на твою славную попку... закатай рукавчик), каждый раз пряча за спиной либо здоровенный шприц, либо какую-нибудь блестящую металлическую хрень, наверняка позаимствованную у гестапо – так что и не ждите, «осторожность» мое второе имя.

Я замотал головой, втянув губы между зубами.

– Это будет интересно, – твердила Нона с той же замечательной улыбкой, которой, видит Бог, даже сейчас мне было нелегко противиться, однако в ее светло-карих глазах уже заплескались искорки раздражения из-за моего упрямства. Угу, эти нюансы мы тоже проходили.

– Ты что, *бои-шься*? Ха!

Игорь по-прежнему наблюдал за нами с тем же выражением. Он знал, какой фокус-покус прячет Нона за спиной, – наверняка он уже не раз видел ее *шприц*.

Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут в поле зрения неожиданно возник один из «фуфлыжников», примерно одного возраста со мной, как потом выяснилось, поступивший в тот же день, только утром.

– Я... Мне интересно. Я хочу! – Маленький недоносок бросился к нам, раскрывая на ходу варежку с таким завидным рвением, что кожа на лице едва не трескалась.

Нона снова коротко глянула на меня, пожимая плечами, и... смачно харкнула любопытному глупцу в рот. С такой силой, будто из духового ружья *фухнула*. Был слышен даже влажный шлепок внутри. На протяжении еще нескольких дней я мог закрыть глаза и видеть, будто в замедленной съемке, снова и снова, как зеленоватая слизь из ее соплей и слюны влетает малому в рот. И этот влажный звук... Ума не приложу, где она так здорово этому научилась.

Я с превеликим трудом удержался, чтобы не блевануть прямо себе под ноги, любопытный малый зашелся в сиреноподобном реве, одновременных попытках отплеваться и дергающих все его тело рвотных спазмах, а Нона с визгливым хохотом откинулась на мою кровать, как шлюха, коей не терпится, чтобы ее как следует отодрали. Некоторые тоже рассмеялись. Но не все. Я подозреваю, молчали те («наших» среди них не оказалось), кто подобно мухам приклеились раньше на сахарную улыбочку Ноны.

Игорь, глядя на меня, одобрительно поднял большой палец кверху.

Когда отведавший соплей малый, продолжая голосить и плевать, выбежал из палаты, Нона поднялась, одергивая юбку. Даже не глядя в мою сторону, она тоже направилась к выходу, словно позабыв, зачем приходила. И тут я совершенно ясно понял, зачем – ну ради меня, конечно, чтобы проделать свой излюбленный трюк с новоприбывшим малолеткой (понятное дело, даже в ее пятнадцать такой фокус с мальчишкой года на три старше меня мог бы ей

дорого стоить). Назовите это детской интуицией, но я сразу догадался, что она проделывает его со всеми, с кем может позволить себе такое удовольствие.

– Последний раз, Нона, – сказал Игорь. – *У нас* это было в последний раз.

Она обернулась в дверях, одарив его шикарной улыбкой (которую сегодня назвали бы «на миллион долларов»), только уже вовсе не такой милой, как прежде, и, не сказав ни слова, вышла. Насколько я помню, действительно ничего подобного больше не повторялось, по крайней мере, *у нас*.

– Чопская давалка! – послал ей вслед кто-то из «наших». Нона приехала из захолустного приграничного городка Чоп, что примерно в трехстах километрах от Львова, где, похоже, созревающим кобылкам вроде нее было нечем больше заняться со скуки, кроме как упражняться в мастерском харкании в рот малолеткам.

– Отлично, Юра, так держать, – это уже мне. Я кисло выдавил ответную улыбку, в то же время думая, что стал свидетелем чего-то настолько из ряда вон выходящего, о чем еще долго смогу долгими вечерами рассказывать друзьям и знакомым.

Мне еще только предстояло узнать, что любые выходки Ноны просто бледнели перед тем, на что были способны медсестры нашего маленького санатория «Спутник».

Семь лет – последний бастион наивности.

Незадолго до ужина мне сильно захотелось конфету. Я пришел в столовую, где на одной из полок буфета остался мой пакет, собранный мамой. Раскрыв его, я достал целлофановый кулек, но моих любимых шоколадных в нем не оказалось, только леденцы *пригоршня* «Театральных» и столько же «Мятных». К тому же исчезла пара «Гулливеров» и с полдюжины трюфелей. Я долго стоял у буфета и недоверчиво разглядывал кулек. Вопрос в том, *куда* могли подеваться конфеты?

Будь я годом старше, то, безусловно, тут же решил бы, что их у меня стырили (или *свистнули*, – как говорили тогда). И, конечно, оказался бы прав. Ну не на прокат же их у меня взяли! Однако я еще не сталкивался со столь наглым воровством, и поэтому сначала подумал, что мама просто забыла о них, собирая кулек. Но сразу вспомнил, как сам положил в него конфеты – такое не забудешь! Версия не продержалась и секунды. Новая, пока я в неприятном замешательстве вертел в руках прозрачный кулек, состояла в том, что кто-то, возможно, перепутал пакет и нечаянно взял мои конфеты (точнее, *съел* мои конфеты). Это предположение казалось куда состоятельнее предыдущего, хотя тоже выглядело весьма и весьма маловероятным, но продержалось секунды две – явный прогресс.

В конце концов я был вынужден с горьким вздохом смириться, что конфеты у меня все-таки кто-то *украл*. И знаете что? Вот уже ровно двадцать два года эта версия успешно сохраняет свои позиции и, думаю, может легко продержаться еще не меньше.

Только мне и в голову не пришло пожаловаться на неизвестного вора (а если бы и пришло, то я вряд ли так поступил бы из-за нескольких, пускай даже шоколадных, конфет).

Оставшиеся леденцы меня не прельстили и, вернув пакет на прежнее место, я уныло поплелся в палату.

Что ж, впечатлений от первого дня в санатории мне было уже более чем достаточно, но главные, как оказалось, ждали меня еще впереди.

Войдя в палату, я увидел, как Андрей, второй по старшинству после Игоря, и еще один парень, которого вроде звали Антоном и который готовился к *выписке* на следующий день, возятся с чем-то между рядами коек. Мое появление их явно не обрадовало, хотя игровой уголок был полон других детей.

Андрей подошел ко мне и, дружески взяв за плечо, отвел подальше от ряда, как-то уж чересчур живо интересуясь моими делами, понравился ли мне санаторий и так далее, в общем,



только укрепил мое подозрение, что то, чем они с завтрашним счастливымчиком занимались, имеет какое-то отношение ко мне. Похоже, ребята готовили какой-то сюрприз.

Не то чтобы это меня сильно беспокоило, но если становится очевидным, что против тебя кто-то что-то замышляет, то и сохранять абсолютное безразличие довольно трудно, так ведь? Поэтому я спросил, что они там делали. Андрей натянуто рассмеялся, поглядывая в сторону все еще чем-то занятого товарища, и сказал: «Ничего интересного».

– Где новенький? – до зуда знакомая еще по больницам интонация, не голос, а именно интонация. Это кто-то явился по мою душу. Я обернулся к двери палаты, зная наперед, какую картину увижу: медсестра, рассеянно перебирающая глазами копошащихся детей – в поисках меня. Угу, так и есть.

Обычно это означало, что либо пора сдавать анализы, либо проходить осмотр у врача. Но для анализов было на сегодня поздно (большинство из них сдают, как правило, с самого утра на голодный желудок, банки, склянки, не бойся, это все равно как комарик укусит, а это как...). Значит, осмотр.

– Он тут! – ответил за меня Андрей, заметно обрадовавшись, и я даже догадывался почему.

– Идем со мной, – сказала медсестра. – Тебя хочет видеть доктор.

Я снова оглянулся в сторону прохода между рядами кроватей и последовал за ней.

Все как всегда. Врачиха, та самая, что встретила меня и представила остальным в столовой, пустила в дело свой холодный стетоскоп, от которого по коже во все стороны разбегаются шустрые мурашки; на столе кабинета раскрытая библия моей болезни; «дыши глубже, не дыши», моментами изнутри поднимаются беспричинные смешинки, как пузырьки в бутылке с минералкой, «можешь опустить»... и снова «открой рот», только на этот раз понятно зачем, скользкий металлический шпатель на языке, солоноватый от стерилизующего раствора... все как всегда.

– Ты у нас проблемный мальчик, – заключила главврач, поглядывая на часы. Ужин начался в восемь, а сейчас была половина, и ее смена скоро заканчивалась. – Я буду вести тебя сама. Завтра сдашь анализы, я посмотрю и назначу курс.

Она пролистала мою историю болезни в самый конец.

– Две недели назад была ангина... за месяц до этого грипп... опять ангина... Знаешь, неудивительно, что у тебя такая карточка.

Можно подумать, тут привыкли иметь дело с одними спортсменами, блиставшими исключительным здоровьем. Смертельно больных здесь тоже, конечно, не было, но ведь никто не станет отрывать детей от нормальных школьных занятий без серьезных причин?

– Я не успела целиком изучить твой талмуд, кажется, это полная энциклопедия детских болезней, но кое-что хочу выяснить сразу. Когда у тебя был последний приступ астмы? Если, конечно, можешь ответить.

Могу ли я ответить?! Похоже, эта очкастая докторша была обо мне непозволительно низкого мнения. Ничего, очень скоро она его переменит.

– В три года, – сказал я. – А потом я перерос, и больше не повторялось. Еще у меня хронический тонзиллит – я на диспансерном учете. И шумы в сердце после кори в прошлом году, вы ведь, наверное, слышали? А насчет прививок, почему мне их не делали, вы уже в курсе?

Врачиха с улыбкой кивнула.

Если бы она меня попросила, я мог бы с легкостью перечислить все свои диагнозы, пересказать результаты анализов за последний год, названия всех препаратов, которые принимал либо в виде уколов, либо глотал внутрь упаковками, и даже поспорить, какое именно лечение она мне вскоре назначит с точностью до каждой процедуры, таблетки и укола. Этаким маленький доктор в коротких штанишках и вавкой на коленке, – что вы имеете в виду, коллега? све-

рим наши анамнезы? Да, кстати, дружище, я настоятельно рекомендовал бы вот эти витаминки, они вкуснее, да и через трубочку плюются отменно. К одиннадцати годам я вообще был бы способен обходиться без докторов, если бы не справка освобождения от школы – маленький заветный клочок бумаги с двумя печатями – и рецепты на некоторые лекарства. Может, я и не тянул на юного педиатра, но уж себя-то знал куда лучше любого врача. Во всяком случае, достаточно, чтобы в шестнадцать поставить себе верный диагноз (острый перитонит) – то, чего не сумели сделать доктора «скорой помощи» (которые приезжали *трижды!* и считали, у меня *обычное пищевое отравление*) и благодаря чему, несомненно, я не отдал концы в тот же год, когда получил паспорт, а кто-то не отправился в тюрьму повышать квалификацию.

– Хорошо, Юра, можешь идти, а то опоздаешь к ужину, – сказала врачиха.

Я кивнул и направился к двери, действительно будучи не прочь чего-нибудь забросить в желудок.

– Да, вот еще что я хотела у тебя спросить, – окликнула она меня уже на пороге. – Ты хорошо устроился у нас? Старшие ребята не обижают?

Не знаю, искренне ли она обо мне заботилась, или просто была в курсе, что директриса санатория – ее начальница – знакомая моей мамы. Почему-то даже тогда мне подумалось, что второе предположение гораздо ближе к истине.

– Все нормально, – ответил я, вспомнив по странной причуде детского мышления в тот момент не о Ноне или о чем-то замышлявших парнях, а об исчезнувших из моего кулыка шоколадных конфетах.

И вышел.

– Мы должны тебя кое о чем предупредить, – сказал Андрей. Я услышал тихий скрип пружин его кровати, когда он приподнялся на локте, глядя на меня сквозь сумрак палаты. Маленькие искорки поблескивали в его глазах, как звезды, отражаемые озерной гладью. – К нам по ночам приходит привидение.

Это происходило вскоре после отбоя, часов около десяти, когда во всех палатах нашего маленького санатория потушили свет (он горел теперь лишь в длинном коридоре и сестринской) и его немногочисленное население готовилось отойти ко сну.

– Привидение? – переспросил я, мгновенно охваченный смутной тревогой.

– Ну да, – подтвердил Антон, который уже завтра в это время будет засыпать в привычной постели у себя дома, готовиться к возвращению в школу и, может быть, вспоминать о нас, оставшихся здесь, в месте, что теперь принадлежит его прошлому. – Настоящее привидение.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.